



Приемный покой

Наталья Земскова
Детородный возраст

«АСТ»

Земскова Н.

Детородный возраст / Н. Земскова — «АСТ», — (Приемный покой)

Тридцатидевятилетняя Мария Гончарова попадает в дородовое отделение одной из петербургских больниц в середине беременности с угрозой выкидыша. Скоро становится понятно, что единственный способ выносить ребенка, о котором она давно и страстно мечтает, – это лежать в одной позе, держа руки на животе. Ее матка живет собственной жизнью, все время выталкивая малыша. Врачи только разводят руками, а женщина пытается дотянуть до времени обычных родов во что бы то ни стало. Рядом – соседки по палате со своими историями и вся её прошлая жизнь, к которой она обращается время от времени, пытаясь отвлечься и справиться с ситуацией. Лечащий врач Марии – Маргарита Вениаминовна Реутова – уже двадцать лет замужем, но ее муж не может иметь детей, и Реутова практически с этим смирилась. Неожиданно судьба ей дарит шанс – родить ребенка от другого человека. Но для этого ей нужно очень многим пожертвовать...

Содержание

Глава I	5
Глава II	28
Глава III	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Наталья Земскова

Детородный возраст

Глава I

20–22 недели

Я лежу на холодной кушетке, смотрю в тусклый потолок и думаю о том, что проблема-то, собственно, одна. Но, как всё глобальное, находится в двух противоположных плоскостях: а) как забеременеть и родить и б) как этого не допустить во что бы то ни стало. Про пункт «б» мне, плюс-минус здоровой женщине, известно всё. Про пункт «а» – ничего, кроме того, что это случается, когда совсем не надо. Мне – НАДО. И надо – СЕЙЧАС. Мне тридцать девять, и у меня последний шанс.

- В браке состоите?
- Что?..
- Замужем, говорю, или нет?
- Да, да, конечно...
- Когда начали половую жизнь?
- Что?..

Тетка из приемного покоя смотрит на меня как на умственно отсталую и громко повторяет, помешивая что-то в больничной кружке:

- С какого возраста живете половой жизнью? Какая по счету беременность?
- Вторая.
- Роды были?
- Ну конечно.
- Когда?
- В... Ммм... Семнадцать лет назад.
- Чем болели в детстве?

Матка сжимается, тянется вниз с неистовой силой, и я представляю ее чем-то вроде толстого резинового мяча, резко вытянутого и сплюсненного вдоль собственной оси. Она живет своей собственной, параллельной жизнью, не желая ни считаться со мной, ни подчиняться. Если сейчас отойдут воды – всё... Хочу с ней поговорить, упросить вернуться на место, успокоиться, ведь мы уже в больнице. Но вместо этого впиваюсь глазами в медсестру и трясу ее взглядом:

– Ничем я не болела, делайте что-нибудь, там же всё написано: угроза прерывания, ребенок в самом низу...

Орать мне нельзя, чтобы не напрягаться, поэтому я шиплю как змея и начинаю беззвучно реветь от страха, что из-за своих дурацких вопросов они ничего не успеют сделать.

Тетка перестает писать, смотрит на меня несколько секунд и говорит без выражения:

– У всех ребенок внизу... Не вверху же. Николай Степанович всегда объясняет: мы можем помочь лишь иногда, и то процентов на пятнадцать.

– Что может знать ваш Николай Степанович? Он своего Лёвушку не воспитывал, интересовался лишь собой да Белой армией...

– Господь с тобой, какого еще Лёвушку? У него три девочки, у Толстоброва Николай Степаныча. – И, махнув рукой, кричит куда-то в недра родового отделения: – Зина, каталку! В тридцать пятую ее. Вены-то у тебя хорошие?

Вены – хорошие. Только капать в таких случаях, как у меня, можно всего два лекарства – магнезиум и гинепрал. Вначале делают одно, затем второе, а дальше разводят руками и ждут.

– Боли есть?

Нет у меня никаких болей, только страшная тяжесть внизу живота, будто вот-вот что-то выпадет. Весь последний месяц я лежу в постели и боюсь, боюсь, боюсь. Чувствую, что-то неладно, не могу понять, что, и от этого совсем цепенею от страха. Сегодня эта тяжесть стала пульсирующей, я вызвала такси и поехала на УЗИ, врач взглянула на экран и стала шипеть не хуже, чем я сейчас:

– Быстро лечь! Ребенок в самом низу, угроза прерывания. Вызываю «скорую».

Нет, я, конечно, знала, что так случится. Сильно хотеть нельзя. Боялась, что не смогу забеременеть: вдруг он, организм, за семнадцать лет забыл, как это делается? Оказалось, нет, бедняга только того и ждал: менял циклы, расставлял ловушки, требовал фруктов и сохранял фигуру. Ему бы исполнять положенную функцию, а я вместо деторождения какой-то ерундой занимаюсь – пишу в газетку, сплавляюсь на байдарках. И всю дорогу с ним договариваюсь: вот Анька чуть подрастет – тогда, ну вот квартиру получу – тогда, да и мужа бы иметь совсем неплохо... Пока образовывались квартира и муж, стало понятно, что это не самое главное. Так что природа здесь ни при чем: зачем она будет отбирать то, что дала? Должно быть, это там, наверху, засомневались, и нужно подтвердить свою настойчивость.

Всё время, пока мы ехали, сначала на такси, потом на «скорой», лил какой-то сверхъестественный ливень. На дорогах забурлили потоки мутной воды, и мы то и дело стояли по дверцы в волнах. И прохожие тоже встали, застигнутые стихией, невесть как проникшей в лабиринты мегаполиса. Все пугались, ругались и прятались – лишь меня эта репетиция всемирного потопа немного отвлекала и даже успокаивала. Декорации всегда отвлекают, отключая сознание и давая возможность подсознанию выбрать оптимальную схему действия. В моем случае она выглядит так: я должна...

– Хватит реветь-то! – Санитарка осторожно обходит мокрой тряпкой мою капельницу и поправляет одеяло. – Раньше никаких гинепралов не знали. Хочешь выносить – значит, лежи. Плюнь на всё и лежи ноги кверху. Я тут тридцать лет полы мою и вижу: кто хочет – тот вылеживает, да! Вон Сорокину из шестнадцатой третий раз привозят, дуру. Как выпустят, она к компьютеру своему глаза пялить – закровило! Ее откапают, она опять туда – опять кровит. Вот доскачет: поднимут и вычистят...

– Что поднимут?

– В гинекологию, говорю, от нас поднимут и сделают аборт.

– Зачем аборт?

– Ну, если закровит так, что сохранять будет нечего. У тебя не кровит? И лежи ноги кверху. Вон Толстоброва тебе вызвали, не реви – попадет.

– Петровна, кого ты тут мне воспитываешь? Гончарова?

В дверном проеме появляется темноволосый гладковыбритый мужчина лет сорока пяти или чуть постарше и, бегло улыбаясь, направляется ко мне.

– Гончарова...

– Ну, значит, так. Немедленно прекратить все разговоры, со словами уходит сила. Лечь на дно, убрать из головы все мысли. Забыть работу и семью. Всё это на другой планете. А вы пока на этой. И чтобы выжить, в вашем случае выносить, надо отгородиться от мира, слиться с ландшафтом, переждать, затаиться. Это трудно, но в принципе можно. Мы сделали экспресс-анализы – страшного ничего не нашли. И шейка плотно закрыта. Она коротковата, это плохо, но закрыта. Схватки между тем идут самые настоящие. Но пока, слава богу, редкие. Попробуйте стать равнодушной, спокойной. Расслабьтесь, это поможет. Я сегодня дежурю, загляну пару раз.

Ну вот и ответ, который я знала: стать амебой, не думать, не думать. Хоть трава не расти, хоть потоп. Кстати, потопа не будет, потоп уже был. Хорошо, что меня увезли. Дома Анька, Алеша дома. Какой же дома покой? Нужно сосредоточиться, уцепиться за что-то, держаться. Это просто опасный участок. Бывают же на реке опасные участки, когда байдарку несет на камни, а потом минуешь – и ничего. Вот раньше, двести лет назад, баржи на Чусовой разбивались вдребезги, а кто-то ведь доплывал. Всё зависит от капитана, от его интуиции и удачи. Главное – от интуиции.

Интуиция у меня есть. Правда, часто берет отгулы. Однажды, когда она, интуиция, была на посту, я спасла жизнь своему ребенку. Аньке тогда было годика полтора. Мы отправились погулять. Вечер. Зима. Небольшая метель. Дочка побежала вперед, и расстояние между нами быстро увеличивалось. Причины для беспокойства не было, этой хорошо утоптанной дорожкой мы ходили не раз, – но что-то меня толкнуло, и я помчалась за ребенком. Догнала в три секунды и похолодела от ужаса: в метре от нас зиял разверзнутый канализационный люк, из него валил пар. Даже сейчас, пятнадцать лет спустя, не могу вспоминать этот случай без содрогания. Но что-то же предшествовало «толчку». Что? Какая-то пустота в голове. Короткая пустота и отсутствие мыслей. Вот он, ангел-хранитель, и достучался. Надо освобождать голову. Надо – не думать.

Нет, сначала додумаю про удачу. Удачлива ли я? Как будто бы не очень. В институт поступила со второго раза. Но в Ленинград, в нашем городке ни одного вуза не было, да я, кроме Питера, ни о чем и не думала. На экзаменах тянула то, чего не учила, но всегда выпутывалась. Не выиграла грант на поездку в Америку. Про лотерейные билеты уж и не говорю. Зато не умерла от жуткого перитонита в детстве. То есть удачи абсолютной – нет. Но, как ни странно, мне многое разрешается. Разрешили же выжить, учиться в престижном вузе, даже первого мужа дали в нужное время и, следовательно, не отправили по распределению в глушь, хотя всё уже было расписано... Вывод, значит, такой: даром ничего не дают, но, если копошусь настойчиво, взять позволяют. Мир вообще устроен так, что всё определяется количеством попыток. Сто раз попытаешься – три раза получится. Но теперь-то в том и беда, что времени на попытки у меня нет.

А Толстобров и в самом деле не похож на Гумилева: среднего роста, отнюдь не худой, и девочки его, должно быть, точно такие. И хорошо, что не похож. Гумилев – принц для сказки и любви. Влюбляясь и любя, хорошо погружаться в его стихи, как в туман Серебряного века. А с беременностями и детьми он как-то не монтируется, расстрелянный принц.

Магнезию прокапали, эффект – ноль. Мой резиновый мяч сжимается, тянется вниз и нехотя возвращается назад. Через некоторое время всё повторяется. Кладу руки на живот и в отчаянии начинаю его согревать и разглаживать, хотя Толстобров говорил, что живот лучше не трогать. Но это сильнее меня: пальцы тянутся сами, чтобы занять определенное место.

Пять минут, десять, двадцать, сорок. Час. Еще час... Мне делают какие-то уколы, опять капают – и так до ночи. Держу руки на животе, прошу, умоляю, пытаюсь не думать. Матка, этот кусок мышцы, мне кажется живым существом, которому тоже нужны флюиды заботы. Посылаю флюиды заботы, договариваюсь, пытаюсь наладить контакт. Не знаю что, но что-то меняется. Она откликается на мои мольбы, напрягается всё меньше, становится будто ленивой и часам к двум ночи вроде начинает успокаиваться. Убираю руки – снова недовольно собирается в комок. Возвращаю ладони назад – расправляется и поднимается вверх. Хуже всего то, что я не могу повернуться на бок. Она сразу стекает вниз и расслабиться в этом положении совсем не может. Вконец измученная, долго-долго лежу на спине с приклеенными к животу руками и, в конце концов, засыпаю в этой позе с тенью догадки, что нащупала тонкий пруттик, за который можно зацепиться и выплыть.

* * *

– Ну ты спать!.. Снотворное, что ли, дали? – Вся палата смотрит на меня и ждет, пока я осознаю реальность, что почему-то дается с трудом.

Ах да, больница, капельница, руки на животе. Проснулась в той же позе, что и засыпала... Неужели я так пролежала всю ночь?

– Двенадцать часов. – Молоденькая Вика, напоминающая стрижа, смотрит на меня с изумлением в круглых глазах. – Толстобров приходил два раза, уж и обход сделал, а ты – как сурок. Вот бы мне так.

Прислушалась к животу – порядок. Убираю руки – всё хорошо. Значит, это возможно – договориться с маткой тактильным способом. Во всяком случае, вчера у меня получилось. А потом я убежала в сон, и это тоже сработало. Я всегда убегаю в сон, когда плохо или непонятно.

Вика, достав из тумбочки пачку сигарет, принимается ее совать куда-то за пазуху. Возмущаться у меня нет сил, я избегаю любого напряжения. Да она ведь и сама всё понимает.

– Вот рожу – сразу брошу. – Вика улыбается лучезарной улыбкой, вскарабкивается на довольно высокий подоконник и лихо спрыгивает вниз.

Вика исчезает, и мои соседки начинают говорить все разом:

– Закуришь тут, второй ребенок без отца. И что за судьба у девки! Не жизнь, а сериал какой-то.

Как узнаю скоро (а очень скоро я узнаю всё про всех), сериал Викиной жизни начался смертью матери – кстати, в родах. Сейчас вроде бы всех спасают, но ее не спасли. Ни ее, ни новорожденного сына. Вике было пятнадцать, ее младшей сестре – четырнадцать, но отец упорно хотел мальчика. Получив два гроба, он, как водится, запил года на полтора, потом протрезвел, почистил перья и женился на молоденькой соседке. В результате долгожданный сын появился, но квартира оказалась тесной, девочки – неудобными, денег, естественно, мало. По настоянию мачехи Вику отправили к тетке, пришлось идти в училище. Там общага, танцы, пиво. Вика, хоть и не красавица, была одной из самых видных девчонок потока и пользовалась этим, как могла: парни решали ей задачки, покупали колготки и сигареты, водили на дискотеки. Потом появился Пашка и, чтобы все остальные испарились, забрал Вику к себе домой. Пашкина мать, проводница на поездах дальнего следования, поворчала, а потом смирилась, рассудив, что лучше сын на глазах, чем на улице. Пусть и с этой девчонкой. И жили бы они какое-то время тихо и даже, возможно, счастливо, но Пашку забрали в Чечню, а из Чечни он не вернулся. То есть вернулся – в цинке.

Беременная Вика пила всякую дрянь и таскала ведра с водой, чтобы вызвать выкидыш. Но молодой организм на это не обратил никакого внимания, и вскоре у Вики родился здоровый мальчик. Это понятно: дают ведь когда не надо. А не надо, потому что сплошные «не»: не расписана, не прописана, не работает. Не вдова, не сноха.

Пашкина мать оказалась человеком и оставила их у себя. С внуком она вообще не расставалась, даже хотела усыновить ребенка, но Вика не согласилась. И может быть, впервые после смерти матери она почувствовала себя и дома, и нужной. Но дом – это зависимость. Костику исполнилось пять, Вике – двадцать три, и ей захотелось свободы. Свобода – это снова общага, неустроенный быт и ухажеры. Вернее, так: ухажеры, а значит, общага и неустроенный быт. Во второй серьезный роман Вика вступила во всеоружии опыта и с отчаянной жадью жизни, когда хочется, чтобы всё время что-то происходило. От этой жажды довольно скоро материализовался герой, который приезжал на «десятке», объяснял, что Вика делает неправильные ударения в словах, не звонил по неделе, водил ее по барам и снова исчезал – словом, вел себя независимо и ужасно. И Вика пыталась вести себя независимо, но вместо этого дулась по три дня, плакала и, что хуже всего, ни на кого, кроме этого Степана, смотреть не могла.

После очередного двухнедельного отсутствия он возник с бутылкой ликера «Бейлиз» и с порога объявил, что разводится с женой и хочет ребенка от Вики. Месяц прожил в ее комнате (Костик к тому времени практически перебрался к бабушке), а потом уехал утром на работу и пропал. На этот раз надолго. Дальше всё было, как в старом меньшовском фильме о главном – когда героиня лежит лицом к стене и повторяет: «Ребенка не будет, не будет, не будет...» – а потом показывают роддом. Вике действительно скоро рожать, Степан исчез окончательно, но она его ждет, убежденная в исключительных, не зависящих от него обстоятельствах.

Привезли ее с кровотечением. Кровотечение остановили, но анализы плохие. Приходит Пашкина мать, приводит Костика. Они втроем сидят под окнами родового отделения и подолгу об этом молчат.

– Вот это что, я вас спрашиваю? – кивает Громкая Зоя вслед выпрыгнувшей Вике. – Предохранялись бы, что ли!

В нашей палате две Зои, которые по манере говорить поделены на Громкую и Тихую. Они и внешне антиподы. Громкая – крупная брюнетка, Тихая – малогабаритная блондинка.

У Громкой Зои – двое почти взрослых детей, образцовый муж и внеплановая беременность в сорок три года. Вика для нее – инопланетянка, с которой она никогда бы не разрешила дружить своей дочери.

– И в каждой палате их по три – по четыре! – страдает она. – Помню, пятнадцать лет назад я сына родила – на всё отделение таких было две, в крайнем случае три. И все на них пялились. Да пусть рожают, я не против, если есть на что растить. Но когда нищета, не могу... И дети такими же станут. На ее месте тут Галка лежала: тридцать лет, три аборта, теперь захотелось ребенка – вот сможет, не сможет? Мужа нет, декретные не платят. Это что, я вас спрашиваю?

– Детородный возраст, что же еще. – Тихая Зоя, которой, оказывается, как раз вчера надо было защищать диссертацию по политологии, уже три месяца по больницам. Она говорит – будто шепчет, и все сразу начинают прислушиваться. – Женщины делятся на два типа: те, у кого инстинкт деторождения сильный – их большинство, – и те, у кого так себе. Если ты из первых, всё-всё бросаешь и бежишь его реализовывать. Всё, всё ради этого – выглядеть, быть веселой, учиться...

– Ну, можно и не учиться...

– Именно что учиться, а также преуспевать в своем деле, чтобы на рынке невест быть конкурентоспособной и выйти замуж не за придурка, как все, а за перспективного самца, чтобы потомство тоже было перспективным. Вот ты думаешь, что собираешься на дискотеку – как бы отдохнуть и подвигаться. Не-ет... Ты идешь ре-а-ли-зо-вы-вать программу. Нет, правда, я восхищаюсь женщинами, живущими собственной жизнью, независимо от инстинкта. Но таких почти нет.

– Они страшные, вот и не нужны никому. – Вика появляется на подоконнике и смотрит на Тихую Зою во все глаза.

– Скорее, им никто не нужен. Они свободны для творчества, отдыха и прочих приятных вещей. У них есть время для себя. Вот ты, Оксана, сколько лет потратила на инстинкт?

– На что, на что? – Маленькая кругленькая Оксана даже приподнялась на кровати.

Оксана вынашивает пятую беременность, первые четыре закончились выкидышем, один – на шести месяцах. Перед тем как забеременеть в пятый раз, она долго лечилась, ушла с работы – ладно хоть институт успела закончить.

– Сколько лет пытаешься родить, говорю?

– Семь. Нет, почти восемь.

– Ну вот... Страшные, говоришь? Никому не нужны, говоришь? – Это Тихая Зоя Вике. – Актрису, ммм... помнишь, играла Лауру в «Маленьких трагедиях» – высокая восточная красавица. Я домой на выходные бегала, по телевизору ее видела. Сидит на набережной Москва-реки, ветер полощет волосы, дает интервью. Точных выражений не помню, но смысл такой:

она не замужем, детей нет. «Не дал, говорит, Бог, да я особенно и не стремилась». Жила как жилось, очень даже неплохо. А под конец сказали, что ей пятьдесят. На вид – тридцать пять максимум. И она не врала, не играла. Чисто мужская логика: жить как живется, радоваться и цвести.

– Да с чего ты взяла, что она рада-то? – Вика всем говорит «ты», хотя в палате она самая младшая. Здесь все друг другу говорят «ты», потому что в больнице как бы всё аннулируется, становится неважным – статус, материальное положение, должности. Все обезличены, у всех одна цель, и только она – самое важное.

– Ну, видно по ней было. Видно. Человек живет для себя, потому что не развит инстинкт. А мы так не можем. Я даже позавидовала вроде.

– Может быть, не хотим?

– Именно что не можем. Вот о чем ты мечтала в детстве?

– Ну, о чем, о чем... Стать стюардессой... Не помню.

– А в личной жизни?

– Не то чтобы мечтала, но говорила: у меня будет муж и двое детей – мальчик и девочка.

– О том и речь. Вы подумайте: можно путешествовать, летать на Луну, плыть через океан, ходить в горы! Так нет, «мальчик и девочка»!

– А они потом вырастут и улетучатся. Сиди вяжи носки. – Громкая Зоя действительно вяжет носки, совсем не глядя на спицы. – Да не в том дело, улетучатся или нет. Жизнь-то проходит.

...Проходит, конечно, проходит. Тихая Зоя права. Это инстинкт.

Надо встать и хотя бы умыться. Боюсь вставать, боюсь умываться, боюсь шевелиться. Делаю несколько шагов к двери. Матка напрягается, опять сжимается вдоль и вниз, остается в этом состоянии секунды три-четыре и медленно расслабляется. Надо засечь время. Если схватки нерегулярные, это не страшно. Как привидение, бреду до туалета, потом назад – опять сжимается и едет вниз. Быстро съедаю холодный обед, принесенный соседками по палате, и скорее ложусь с руками на животе: всё, всё, уже кончилось. За пятнадцать минут вертикального положения – два сокращения, это немного, немного. Как раз поесть и сбегать в туалет. Отлежавшись, пытаюсь читать – мгновенно собирается в комок и едет вниз. Значит, мне нельзя ничего – ни разговоров, ни чтения, ни ходьбы. И если сейчас в моде всякий экшн – динамичное, активное действие, – то у меня всё наоборот: наступило время антиэкшн, время активного бездействия. Это мой единственный шанс. Счастье, если дотяну до тридцати двух недель – там уже всех спасают, донашивают в кувезе. Господи, дай мне уберечь его хотя бы до этого срока, пусть будет недоношенный, не очень здоровый, только живой. Живая. На УЗИ сказали: будет девочка. Только бы протянуть эти два месяца, хотя бы два месяца, там станет легче.

Снова принесли капельницу – правую руку с живота пришлось убрать.

– С завтрашнего дня у вас электрофорез. Физиокабинет в том конце коридора. Возьмите с собой полотенце. – Медсестра ловко устраивает мою руку, убирает жгут и кладет на тумбочку направление.

– Мне не дойти. Не смогу.

– Объяснитесь с врачом, если не хотите лечиться.

– Я хочу. Но мне не дойти, это правда.

Не слушая, она уже занимается Оксаной. У Оксаны все вены исколоты и спрятаны, их никто не может найти с первого раза, но она молчит и терпит, терпит и молчит. Тоже не хочет тратить силы на бесполезное напряжение. У нее тоже последний, ну, может, предпоследний шанс. Надо капать, и надо лежать. Лежать и капать. Ничего другого пока не придумали.

Как-то быстро напозвечер – самое тусклое в больнице время. Днем процедуры, капельницы, все шелестят. Вечер тратится на телевизор, который принес Зоин муж, и вялые разго-

воры. На телевизор у меня аллергия. Разговоры, по крайней мере, не мешают. Главное – прожиты первые сутки.

Мы рано гасим свет, дружно пытаюсь поскорее прикончить этот день и перетечь в следующий.

* * *

Сутки тянутся, как неделя, зато неделя проходит, как сутки. Из-за однообразия. Время тянется и одновременно летит. Это известные вещи.

– Не хочу рожать! Не хочу рожать! Не буду! Сделайте что-нибудь! Я не должна!

Так и есть – к нам. В нашей палате единственное свободное в отделении место. Шесть утра, но новый больничный день уже запущен – двери распахиваются, и на каталке ввозят совсем молодую девчонку, лет восемнадцати. Она уже под капельницей – гинепрал. Осторожно перекалывают на кровать, даже не переодев. Следом появляется Маргарита Вениаминовна Реутова, дежурный врач. Говорят, еще в институте ей дали прозвище Белая Ладыя – за высокий рост и светлые волосы. Она здесь вторая после Толстоброва и, несмотря на внешнюю строгость, вполне сердечный доктор.

Реутова явно озабочена и говорит скороговоркой:

– Успокойся, Саша. Конечно, рано, тридцать две недели. Но, может, обойдется. Молчи, постарайся расслабиться.

Тридцать две! Рубеж, который я себе назначила.

– Пожалуйста, помогите. Ну пожалуйста! Я же ничего такого не делала – не прыгала, не падала. Ведь еще целых два месяца! У меня мальчик, а мальчики хуже выживают. Это я виновата, потому что его не хотела. Но недолго, совсем недолго, потом подумала и захотела. И мама с бабушкой говорят: надо оставить. Я уж и игрушки стала приглядывать. Сейчас столько всяких игрушек!.. Он выживет, ведь выживет, да?

Реутова слушает сердцебиение ребенка и говорит медленно и гулко:

– Если ты сейчас же не замолчишь, роды могут начаться прямо здесь. А у нас нет перинатального центра, понимаешь? Чтобы спасти недоношенного, нужны кувезы, аппараты для искусственной вентиляции легких и много чего еще. То есть нужен перинатальный центр. Отправлю туда, если не остановим схватки. Но не раньше. Везить туда-сюда тебя вообще нельзя. Всё, помолчи.

– А вдруг он не выживет?

– Мой папа, доктор наук, профессор, родился семимесячным весом килограмм и шестьсот граммов. Да еще упал при этом на лестницу... Моя тетка родила семимесячных двойняшек – оба выжили. Кило четыреста и кило восемьсот. Сейчас двухметровые мужики. Может быть, еще остановим...

Видно, что Реутова переживает не меньше этой Саше и что шансов остановить роды мало. Все замерли, притаились, как мыши, словно от этого что-то зависит.

Реутову уважают, любят и жалеют. Уважают, потому что хороший врач – ездит на все усовершенствования и конгрессы. Любят, потому что сочувствует нам и очень старается помочь. А жалеют из-за другого: столько лет помогать родиться другим, зная, что своих детей никогда не будет! У нее чудесный, говорят, муж. К тому же модный художник, везде выставляется. Говорят, они всю Европу объехали и весь бывший Советский Союз. Только вот детей нет. Сначала он всё не обследовался, а потом, когда она уговорила, не смогла скрыть результаты: у него не может быть детей. Девяносто процентов женщин на ее месте, конечно бы, скрыли и сделали всё, чтобы заполучить эту беременность любым путем. А она не смогла.

– А Дашка, сестра моя, смогла, – сказала Оксана, когда мы в очередной раз пережили-переживали трагедию своего доктора. – История точь-в-точь такая же, только сестра

сама пошла за анализами, выбросила их в урну, купила мужу каких-то витаминов, велела пить полгода, а сама залетела от бывшего одноклассника. Девочке – родилась девочка – уже десять. И ведь Дарья молчит, даже мама наша не знает. И все довольны, Игорь, муж, девчонку любит без памяти. Что самое удивительное – они похожи как две капли воды. А так бы разошлись, наверное...

В общем, всё по Стриндбергу, который еще в конце позапрошлого века изрек: «Отец всегда неизвестен». Видно, сильно взволновала этого шведа проблема отцовства, раз он написал драму «Отец»: там жена сообщает мужу, что, возможно, не он настоящий отец их единственной и горячо любимой им дочери. Мужик два акта корчится. Посмотрела я этот спектакль и подумала: пожалуй, это и есть наша единственная и реальная им месть за всё – и родить сами не могут, и отцовство их всегда можно поставить под сомнение. Потом даже статистику посмотрела: примерно шестая часть всех детей на планете рождены не от тех отцов, которые ими считаются. Процент усыновления есть, но совсем небольшой. И этим утешимся.

– Я тоже смотрела как-то легковесную передачку, – оживилась Тихая Зоя, – опрашивали бывших беременных, то есть уже молодых мамаш. Вопрос такой: ваша первая мысль после того, как вы узнали, что беременны? Одна говорит: как буду доучиваться, всего третий курс и вообще не на что жить. Это понятно. Вторая охала-ахала, что у нее какой-то мегапроект на телевидении и как она от него откажется. А третья сразила – никаких, говорит, мыслей не было, кроме одной: кто отец?

– А я про детей своих старших подумала – скажут: совсем мамаша сдурела, – выдохнула Зоя. – Не сказали, даже обрадовались.

– А я: неужели снова не выношу?

– И я.

– И я тоже.

Выношу – не выношу. Этим кончаются все наши разговоры, с чего бы они ни начинались и куда бы ни текли.

За окном жизнь, лето перетекает в осень. Весь больничный дворик усыпан сухими листьями, и даже в пурпурных цветах заметен намек на увядание. Сейчас полежу, соберусь с силами и пойду умываться.

Самое страшное – это утро. Утром самые сильные сокращения. После еды и сладкого чая матка лениво расслабляется. Я заметила, что она хорошо реагирует на сладкое, но не могу же я сидеть на одном сахаре! О том, чтобы выйти на улицу, и не мечтаю, но панический страх вертикального положения притупился и уже отпускает ненадолго пожить – минут пять пошагать по палате. Мне капают и колют, но существенно ничего не меняется: чуть реже, чуть меньше, но матка всё время сжимается, всё время едет вниз, и если раньше я думала, что это приступы, которые пройдут, то сейчас ясно: ничего не пройдет, так и буду лежать до родов в одной позе. Пока срок маленький, это возможно, но потом все беременные устраиваются на боку, «укладывая» живот рядом, – что я буду делать тогда? И вообще на спине лежать не рекомендуют, пережимается нижняя полая вена. Спросила Толстоброва, он только рукой махнул: лишь бы долежать до конца, бог с ней совсем, с этой веной.

Да и вена сейчас не главное. Главное, они не могут найти причину моего состояния, анализы нормальные. Реутова подозревает внутриутробную инфекцию, Толстобров склоняется к тому, что причина, скорее всего, «в голове», назначил мне психолога. Вплыла дама, приятная во всех отношениях, долго рассказывала, как она занимается с беременными в бассейне, как там хорошо и какие у них чудесные купальники – сочных цветов. Потом выдержала мхатовскую паузу и поинтересовалась:

– Может, и вам плюнуть на всё и поплавать в бассейне?

– Мне лучше покататься на коньках или, как его, на скейтборде. Тем более, я это уже делала.

Дама похлопала глазами, что-то бодро записала в моей карте и удалилась. Толстобров потом меня ругательски ругал, объясняя, что я пренебрегла светилом, которое нас вообще из милости консультирует.

Поругал, ушел. И я сразу подумала, что в этом что-то есть. В том, что я каталась. А я действительно каталась – на коньках и по льду. И срок был такой же, пять месяцев. Неважно, что было это сто лет назад и с Аней (дура, конечно, набитая, двадцать лет, а ума нет, упала бы на попу – сразу выкидыш), но было же и, главное, имело счастливый финал. Значит, я Та, Которая Катается На Льду. Вот противоположная сторона, куда нужно бежать, то есть просто повторять эту фразу, как утверждает одна парапсихологическая книжка в мягкой обложке. Книжек таких, понятно, сейчас вагон и маленькая тележка, но эта меня развлекала два вечера подряд рецептами придурковатых ритуалов вроде «посушите выстиранное белье в трамвае, и будет вам счастье». Позже у доктора Норбекова я прочитала полунаучное объяснение связи между счастьем и высушенным в трамвае бельем (как и любым другим нелогичным и лучше публичным, а главное, дурацким действием), но сначала просто поверила. Мы даже как-то венки на пустыре закапывали, чтобы, наконец, завелись деньги – и точно, получили какую-то внеплановую премию.

Значит, так: я Та, Которая Катается На Льду. Не Та, Которая Лежит и Ничего Не Может, а Та, Которая Катается На Льду. Это называется – переименоваться.

Мы бегали в парк Победы – благо, он был совсем рядом – и катались на катке. Есть даже фотография: стою на льду на коньках, в «беременных» штанах и нелепой шапке.

Бессознательная юность – великое дело. Помнится, я и на учете-то нигде не стояла, но у меня и мысли не было, что это может плохо кончиться. Помимо коньков я летала самолетом, ездила на велосипеде, зачем-то посещала сауну и совершала массу совершенно излишних перемещений, и, когда меня все-таки упекли в роддом чуть раньше положенного, я искренне горевала о не догулянных на свободе трех-четырёх днях, мечтая скорее вернуться в строй.

Сейчас не могу даже читать – слава богу, хоть спать получается. И, получается, спать – мое единственное развлечение. Во сне мне хотя бы не страшно.

Саше зарядили магнезию. Реутова, которая в восемь должна была уйти домой, не ушла и всё время заглядывает к нам. Саша то ли дремлет, то ли в прострации, словно это утро застыло вокруг нее. В конце концов, она совсем молодая, есть время на попытки и перемены. Не то что у меня. Но ведь этим ее не утетишь.

Матка недовольно напрягается, сжимается и начинает ползти вниз. Опять забыла про руки! Руки на живот, согреть и разглаживать, сейчас всё пройдет. Не думать, не думать. Нет, она точно живет своей, независимой от меня жизнью, которая подчиняется непонятно каким законам.

Вдруг девчонка приподнимается и растерянно просит:

– Позовите врача. У меня потекло что-то...

Вика приводит запыхавшуюся Реутову, и та сразу же приказывает вызвать «скорую»:

– В перинатальный.

* * *

Толстобров велит мне думать о хорошем. Но координаты не уточняет. Запретила себе думать о будущем – приходится о прошлом. Прошлое – это детство, юность и более-менее взрослая жизнь. Детство и юность – отсутствие опыта, зависимость, а главное – незащищенность. Потом, годам к тридцати, вырастает панцирь, в который в случае чего можно и спрятаться.

А тут наступает самое вкусное десятилетие нашей жизни – от тридцати до сорока. У кого-то от двадцати восьми до тридцати восьми, у кого-то от тридцати двух до сорока двух.

Пьянящее ощущение свободы: тьма возможностей, а к ним бездна времени. Можно то, можно это. А можно вообще всё задвинуть подальше, потолок еще далеко.

Мои от тридцати до сорока, точнее, от двадцати семи до тридцати семи – это газета, Олег и Ольга. Впрочем, Ольгой ее никто никогда не звал – все называли по фамилии: Шуман. Фамилия не родная, по мужу, но Ольга ее при разводе оставила, как сделал бы всякий пишущий человек. И когда газета, в которой работала Шуман, попадала мне в руки, я искала только ее фамилию. Ольга писала материалы на «человеческие» темы, которые всегда оказывались срезом какого-нибудь культурно-социального явления. Естественно, ими зачитывались. Сидя у себя на кухне глубокой ночью и наслаждаясь очередным оригинальным извивом ее мысли, я воображала Шуман толстой старой еврейкой. Ну, может быть, не очень старой, но обязательно толстой и обязательно еврейкой.

Статья, «адресованная» мне, начиналась так: «Она прожила не свою жизнь...» Это я теперь понимаю: господи боже мой, кто же из нас ее свою-то прожил? Может быть, один из десяти. А тогда будто небеса разверзлись, и Тот, Кто Выше Всех, сказал: «Маша, делай же что-то со своей жизнью». Называлась статья «Письма самой себе» и рассказывала о том, как жила-была женщина, вышла замуж не за того, профессию получила не ту, двадцать лет просидела не там, то есть в каком-то НИИ, и, чтобы не сойти с ума, по выходным писала себе письма, оказавшиеся чудесной прозой. История настолько совпадала с моей (разве что писем я себе не писала и в своем «НИИ», будь он неладен, высидела всего пять лет), будто кто-то всё про меня разузнал и донес этой Шуман.

Прочитала я ту статью раз тридцать, а потом написала сразу два заявления: на развод и увольнение. А через полгода уже работала в газете, и сидели мы с Шуман в одном кабинете.

Но сначала я к ней пришла. Без договоренности, без звонка. Решила: если застану ее на месте и разговор получится – значит, там, наверху, это мне разрешили.

И мне разрешили. Отрыдав у нее часа два, я полетела в садик за ребенком, а Шуман, как потом мне рассказывала, до вечера сидела в оцепенении с единственной мыслью в голове: вот так, напишешь всякую ерунду – и сломаешь человеку жизнь.

Ни еврейкой, ни тем более толстой она никогда не была. Тридцатитрехлетняя шатенка, в девичестве Третьякова.

Мы не виделись года три-четыре, но разве можно забыть ее по любому поводу ликующие глаза и обращенный к тебе интерес! Только Шуман могла бы помочь мне сейчас, и я знаю, что бы она сказала. То же, что и всегда. В очередной раз, когда у меня рушился мир, она спрашивала со своей очаровательной картавостью:

– Машка, ну скажи, скажи, неужели тебе никогда не было хуже, чем сейчас? Говори честно.

– Не было, Шуман, не было. Честное слово.

Она расцветала в улыбке:

– Ну вот, видишь, значит, дальше будет только лучше, потому что критическую точку ты уже миновала.

Если же ответ звучал: было, конечно, было, – она улыбалась еще лучезарней:

– Ну вот, значит, и это вытерпишь.

Был у нас художник Гена Зорин. Отработал он в газете лет пятнадцать, сказал, что это его разрушает, и переехал в заброшенную деревню – писать и радоваться жизни. Не видела его лет шесть, а тут случайно на вокзале столкнулись прямо перед моей свадьбой, и Генка говорит:

– Ой, Машка! Только вчера с тобой разговаривал, а вот теперь повидались!

– Не могли, – говорю, – Гена, мы с тобой нигде разговаривать ни вчера, ни месяц назад. Тебе, наверное, показалось. Ты здоров?

– Ой, прости, прости. Я объясню. Видишь ли, чтобы поговорить с нужным или просто приятным тебе человеком, совсем необязательно его видеть и слышать. Это понимаешь только на хуторе, в одиночестве. Мы частенько с тобой беседуем. И с тобой, и с Ольгой.

Вот и я теперь как Гена научилась. Сижу (лежу!) на хуторе.

Но мне не хочется говорить о своем состоянии. Мне нужно – не говорить. Поэтому я запретила приходить в больницу всем, кроме Алеша и Ани. Анька бывает редко: начался одиннадцатый класс, подготовительные курсы. Алеша – каждый день, хотя работает за городом, а живем мы в двух часах езды от больницы. Он не знает, чем мне помочь, да и, собственно, нечем.

Не надо, не надо, не надо про это. Буду снова думать про Ольгу. Такого искреннего, неподдельного интереса к людям, как у Шуман, я никогда ни у кого не встречала. Она сама была насквозь настоящая, без примесей.

– Ты, Оля, натуральное дерево, дорогих пород, – сказал ей какой-то поклонник, и этот комплимент она хранила.

Шуман была напичкана историями и людьми. Даже в устных мимолетных ее рассказах эти люди превращались в героев, действия которых обретали тайный смысл и высокую цель. И я заражалась этим интересом, хотя вне Ольгиной системы координат персонажи часто становились безжизненными куклами, лишенными воли и стратегии жизни.

Поехала она, скажем, по письму в какую-то дыру (тогда еще газет было мало, в них писали письма, время от времени приносившие истории), а вернулась с очерком про «сухопутного» моряка Пашу Кошкина, полтора года сидевшего в греческом порту на судне, куда он завербовался то ли поваром, то ли механиком. По непонятным, скорее всего финансовым, причинам судно не могло вернуться домой, зарплату давно никому не платили, и голодающий Паша жаловался в письме к родителям, что всё, что можно, они с корабля свинтили и продали, и теперь домой хоть пешком. Кто-то рассказал ей про этого Пашу в сельском автобусе, и она вышла прямо на следующей остановке, в его деревне – собирать материал. Тронули ее трагикомичные и в то же время романтичные Пашины послания с подробностями выживания в чужой стране до того, что она всю ночь переписывала их от руки, неделю нам о них рассказывала и выдала потрясающий текст. Через полгода вернулся домой этот Паша, ввалился к нам в редакцию с ящиком шампанского и оказался напичканным анекдотами затрапезным дядькой. Не более.

В жизни каждого человека она видела ТЕМУ, и, рассказывая ей что-нибудь, я всегда набредала на нужные мысли. С ней я была умнее и лучше, чем сама с собой. И жизнь с ней была интереснее и значительнее, чем жизнь без нее.

У Шуман был долгий и трудный роман с одним режиссером, и, когда он наконец прекратился и наступило время зализывать раны, она, поплакав так с недельку, вдруг просияла и в ответ на мое изумление изложила мысль, которой я долго потом утешалась:

– А знаешь, Машка, ведь я неправильно реву. Ведь это же было! Пусть и закончилось, но ведь было же, а значит, его, то есть прошлое, никто уже не отнимет. И, значит, оно со мной.

Шуман жила с мамой и дочкой-подростком, и, когда я говорила, что вот, хорошо бы ее, Ольгу, выдать замуж, она отвечала, что не получится, потому что в ее жизни всё и так стоит на своих местах.

– Понимаешь, – говорила она, – у меня уже есть семья, и роли в ней давно распределены. Я – это муж, добытчик, я у нас зарабатываю. Соня – в роли жены, ведет хозяйство, учится и всё такое прочее. А бабушка у нас – ребенок.

Она заливалась смехом, рисовала рожицы на углах всех бумаг и добавляла страшным шепотом:

– Но ведь можно иметь связи на стороне!

Поклонников у нее и в самом деле была масса. Время от времени она выуживала кого-нибудь из этой массы («Та-ак... Ты у нас будешь принц!») – и заводила роман на всю жизнь.

Заканчивались романы довольно быстро, в основном из-за несоответствия принца занимаемой должности, Шуман хмурилась дня два и срочно отправлялась в командировку:

– А то сижу тут у вас – ни украсть, ни покараулить!

«Ни украсть, ни покараулить» – ее любимое выражение, это из Шукшина.

Я тогда как раз придумала рубрику «Вечные сюжеты», и мы долго забавлялись, прикладывая классику к сегодняшнему дню. Ту, которая прикладывалась: «Кому на Руси жить хорошо», «Гробовщик», «Отцы и дети», «На дне», «Мертвые души», «Герой нашего времени»... Было интересно рассматривать и разбирать жизнь, я в этом нуждалась.

Олег был героем нашего времени. Героем – в смысле типажом. Человеком, Который Ни В Ком Не Нуждался. Он пришел в редакцию, принес какой-то материал и завис у нас в кабинете, потому что Шуман, как обычно, включила свой интерес. Да она его и не выключала, появившись на пороге девяностолетняя бабка, всклокоченный мужичок или студентка-первокурсница. Потом мы вместе вышли, посадили Ольгу на трамвай и отправились домой пешком, так как выяснилось, что живем почти рядом.

Я плохо помню ту прогулку, потому что Олег оказался человеком из сна, моего сна, показанного мне год назад. Год назад у меня умер папа, и вскоре он мне приснился. Я его будто о чем-то спросила, и он показал мне мою будущую семью: мужчину, поразительно похожего на Олега, и маленького мальчика, которого тот держал за руку. С тех пор я всматривалась в знакомых и незнакомых мужчин – впрочем, безрезультатно. Но и забыть о той картинке решительно не могла: подобные сны мне просто так не снятся. И вот он появился. Я была уверена: он. И в то же время какое-то опасение мешало радостному чувству узнавания. Я что-то подозревала, и это подозрение о чем-то меня предупреждало. О чем? А о том, что этот человек мне не предназначен. Будто кто-то невидимый стоял за плечом и шептал: «Бесполезно, ты только потратишь время...» «А сон?» – с надеждой возражала я невидимому. Тот, наверное, пожимал плечами и отворачивался.

Практически в молчании мы добрались тогда до моего дома, развернулись и пошли провожать Олега, потом опять меня.

– Я бы непременно сделал вам предложение, если бы был уверен, что не испорчу вам этим жизнь.

Я спросила:

– Вы всегда делаете предложение в вечер знакомства?

– Нет, – просто ответил он, – но сейчас мне его хочется сделать.

И исчез.

Худой, высокий, гибкий. Небрежный в одежде и точный в словах. Всегда ироничный и молчаливый.

Нет, он, конечно, не исчез, но увяз в своей физике, диссертации, грантах. Он и в самом деле, в отличие от меня, ни в ком не нуждался.

Спустя месяц мы столкнулись где-то в городе, он подвез меня на такси и предложил пойти на лыжах. Учитывая, что на лыжах я последний раз стояла в десятом классе, вариант был, прямо скажем, трагикомичный, но выбор всё равно отсутствовал.

После лыж он пригласил меня на горячие бутерброды, и я уже знала, что увижу: забитую книгами, видео- и аудиоаппаратурой однокомнатную, сто лет не отремонтированную хрущевку, в которой днем и ночью горит свет. На три года она стала для меня лучшим местом на свете.

Диссер Олег писал прямо на коленях, поминутно отвечая на телефонные звонки и варя себе кофе. Вечерами мы сидели в кафе, возвращались из театра или просто гуляли. Аньку забирал на выходные отец, а меня, получается, Олег. И сначала всё было логично.

Первый раз мы поссорились, когда я в его отсутствие вымыла плиту. Олег внимательно посмотрел на меня, отправил все тряпки в мусорное ведро и сказал:

– Никогда больше этого не делай.

– Почему?

– Потому что не нужно.

Я была гостьей, частой гостьей, но плита оказалась запретной зоной, и он выбросил предупредительные флажки.

Он был женат два раза – оба брака с треском лопнули. И никаких браков он больше не желал.

– Ты что, не узнаешь интимофоба? – увещевала меня Шуман. – Ну, почитай про них, почитай. Люди, бегущие от близких отношений как черт от ладана.

Еще скептичнее, чем к Олегу, она относилась к моему навязчивому желанию завести второго ребенка:

– Тебе сколько? Тридцать два. Пока то да се, забеременеешь, родишь – будет тридцать пять – тридцать шесть. Бабушек у тебя здесь нет – значит, лет на семь ты вычеркнута из жизни. В самые светлые годы.

– Лучше их потратить на живого человечка, чем на газету и беготню по презентациям.

– Не знаю. Вот мне тридцать девять. Положим, в тридцать пять я его родила и сейчас у меня четырехлетнее дите... Нет, ни за что, никогда! Ни за что, никогда.

– Почему?

– Мало сил. Этот ребенок заберет всё, что еще осталось.

...Да, тогда, семь лет назад, у меня появилась эта мысль. Аньке исполнилось десять, и я почувствовала пустоту. Даже не пустоту, а потребность, ежедневную потребность в ребенке, как будто кто-то крохотный стучался в мою жизнь, ласково и властно требуя его туда впустить.

Чтобы попасть в место назначения, нужно бежать в противоположную сторону. Знать-то я это знаю, только применять не могу. Бежать в противоположную сторону – значит, не хотеть и вообще жить как живется.

...Близилось лето, и мы с дочкой умчались на море, где не было ни плит, ни флажков, ни интимофобов. В конце концов, это его, Олега, выбор: я-то при чем? Выкинув всё из головы, я по-настоящему радовалась жизни, удивляясь, почему мне не удавалось это раньше.

Вот тут-то он проснулся... Наше спокойствие и радость жизни без них – вот чего они не выносят по-настоящему. И нормальные, и интимофобы. И если последний месяц перед моим отъездом я видела его рассеяннo-скучающий взгляд из-под очков, то после нашего моря Олега точно подменили. Из рассеянного взгляд стал потерянным и был красноречивее всяких слов. Он сразу заговорил о свадьбе.

И вроде бы надо было радоваться, кроить платье и новую жизнь, если бы не одно: ощущение того, что этот человек мне не предназначен. А значит, предназначен другой.

Когда он позвонил и сказал, что получил грант на десятимесячную учебу в Англии, я почти обрадовалась. Всё решалось помимо моей воли. Точку ставили без меня, и это было облегчением. А в том, что это точка, я не сомневалась.

Кроме бесценного опыта, лыж и оригинального рецепта глинтвейна, он подарил мне байдарку. Если бы не Олег, вряд ли я до нее добралась бы когда-нибудь. Заядлым туристом он не был, но раньше сплавлялся: байдарка пылилась на антресолях.

Это чудесно в своей простоте: набиваешь рюкзак, садишься в электричку, выходишь где-нибудь у воды, собираешь лодку и – вниз по реке. Не надо сдавать на права, проходить техосмотры. Сел – и поплыл среди скал и вековых елей. Обычно мы выбирали Чусовую – из-за оборудованных стоянок и относительной предсказуемости маршрута. В глушь вдвоем не поедешь, а в компанию нам не хотелось. Однажды мы стояли где-то у скал, в сплошных камнях (еле-еле отыскивали кусочек земли, чтобы разбить палатку), я принялась по ним лазать и прыгать и наткнулась на гигантский старинный жернов – такие раньше устанавливали на баржах для устойчивости. Значит, в восемнадцатом веке здесь кто-то разбился... И так жутко и странно было сидеть на этом историческом жернове в совершенно безлюдном месте, что я даже испу-

галась: вдруг вот сейчас время начнет раскручиваться вспять? До сих пор помню это ощущение тока времени – именно здесь, в крошащихся, как сахар, скалах.

Раза два мы сплавились осенью среди красных осин и синеватых елей по свинцовой густой воде, и было так чудесно потом притащиться домой, бухнуться в ванну, а после сидеть в гигантском кресле и пить глинтвейн под песни Городницкого о том, как «держит осень красной лапой меня за мокрое плечо». В одной фразе – всё послевкусие наших поздних сплавов, и, повторяя ее сейчас, я кожей вспоминаю те ощущения. Это к вопросу о хорошем, о котором мне велят думать.

Та я и сегодняшняя я тоже совсем не монтируются. Но, наученная Шуман, я говорю себе: это же было, а значит, этого у меня уже никто не отнимет.

* * *

– Они говорят, надо его убирать! – Совершенно зареванная, Громкая Зоя появляется в дверях и опускается на первый попавшийся стул.

Зоя ходит свободно, всё время гуляет и даже отпрашивается на выходные. (Вообще, вроде ступы здесь одна я, более или менее передвигаются все, во всяком случае по территории, а кто-то даже уходит домой ночевать.) Единственное, что ее беспокоит, – высокое давление. Сначала его как-то снижали, но вот уже дня три, как сделать ничего не могут – двести на сто двадцать. Реутова, которая ведет Зою, ходит чернее тучи и то и дело вызывает ее к себе.

– Они говорят, надо его убирать. Как можно скорее. Но ведь это почти человек!

– Кто они-то, кто они? Толстобров? – Викины и без того круглые глаза буквально вылезают из орбит, достигая в диаметре сантиметров пяти.

– Реутова и Толстобров. Хором. Вызвали в ординаторскую и чуть не час обрабатывали: мол, единственный выход. Говорят, он всё равно погибнет или родится уродом. Давление высокое, сосуды сжимаются, поэтому к нему ничего не поступает.

Все замерли по своим кроватям, и даже Вика от этой новости раздумала идти курить.

– Погоди-погоди, а может, дотянуть как-то, ну хоть до тридцати недель – нельзя? – Обычно молчаливая Оксана говорит это, чтобы только не молчать, хотя и так понятно, что наши врачи знают, на чем настаивают. – Да тут у половины отделения давление, так что теперь, всех на аборт? Не соглашайся и ничего не подписывай! Главное, ничего не подписывай. Пускай снижают, как хотят.

– Как вдвоем сейчас напустились, как напустились! Мол, сорок три уже, куда ты? Но я же не виновата, что лет десять не предохраняюсь, и всё было нормально. Тут – задержка. Думала, климакс, а оказалось – беременна. Три дня редела: рожать страшно, а на аборт еще страшнее. Муж сказал: перестань, будем рожать.

– Ну что ты заладила – сорок три, сорок три! Открой учебник по гинекологии. Там черным по белому написано, что детородный возраст продолжается до сорока девяти включительно. А раньше в деревнях и в пятьдесят рожали. Ты, главное, не соглашайся.

– Жалко мне, девочки, достанут и выкинут...

Зоя уходит плакать в скверик напротив, а мы пытаемся как-то наладить испорченный вечер.

– Маш, ну а ты-то что молчишь? Ты всё время молчишь и молчишь, как морская раковина.

– Морская раковина – это хорошо... Я не знаю, что говорить. На таком сроке это уже не аборт, а стимуляция, вызовут роды по показаниям.

– Да какая разница, стимуляция, аборт – убьют ребенка, и всё!

– С нами училась девчонка – тоже Оксана. Забеременела она как-то уж очень случайно, лежала целыми днями и плакала, дотянула до пяти с половиной месяцев и уговорила знакомую

сделать ей стимуляцию за определенную сумму. Пока то да се, анализы, обследования, срок был уже двадцать шесть недель. Простимулировали – мальчик родился живой. Растерялись, не знали, что делать, положили на подоконник... Утром приходят – живой. Тут уж начали спасать. Выжил, нормальный ребенок. Получилось, что мы с ней родили в одно время, я потом излишки молока этому Юрочке отдавала. Молока было очень много.

– И что, никого не посадили?

– Нет, сама поражаюсь. Та женщина уволилась, вроде бы сняли заведующую. Оксана потом уехала к матери в Тихвин. И даже фотографию как-то прислала: хороший такой, улыбочивый мальчик. Я всё думала, если бы родился в нормальные сроки, наверное, был бы гений.

– Так, может, срок был все-таки больше?

– Может, и больше. У них же легкие очень слабенькие, не могут раскрыться, начинается кровотечение. А он сразу начал дышать сам и справился.

– Нет, я не понимаю. Ведь можно пойти и по-человечески сделать аборт, – проговорила Вика.

– Можно. Только некоторых внезапная беременность просто парализует, особенно по молодости. Они ничего не соображают и выхода не видят. Отсюда все эти криминальные аборты да стимуляции, когда уж ничего сделать нельзя. В общем, каждый проходит свой путь, и всякие параллели тут бессмысленны. Я – свой. Ты, Вика, свой. И Зоя – тоже. Ей страсть как надо этого ребенка – не дают. Нам с тобой тоже вот вынь да положь. Но результат формируется и сегодня, так что лучше...

– Не париться, да?

– Не гадать. Делать что нужно.

– То есть надеяться.

– Вот как раз нет! Не знаю. Надежда всегда мне казалась чем-то сомнительным: «Больной, надейтесь!» Делать надо, а не надеяться. Я, например, чувствую, что мне делать, – лежать и лежать. Хотя лежать всё время не посоветует ни один врач.

– Но ведь иногда нужно просто смириться. Смириться, и всё – так? – Тихая Зоя, дремавшая в уголке с книжкой, швырнула ее на тумбочку и пошла ставить чай. – Не биться же о стену головой.

– Когда всё уже случилось – да. Не биться. А до этого делать что нужно. Чтобы потом не рвать на себе волосы. А потом – как уж будет.

* * *

Маргарита Вениаминовна Реутова любила возвращаться с работы пешком. Здание клиники, еще дореволюционной постройки, стояло в полузаброшенном саду, и, чтобы пройти сад насквозь, требовалось минут пятнадцать. В саду были отчетливо видны смены времен года, а Реутова любила их наблюдать. Будто нарочно, здесь росли «знаковые» сезонные деревья: сирень – для весны, березы и тополя – для лета, бузина и клены – для осени. Собственно, из-за этого старинного сада она отказывалась от предложений поменять клинику на что-нибудь более престижное и перспективное. А ведь приглашали. Жила она в сорока минутах ходьбы, и это тоже было хорошо. Тяжело жить в двух часах езды, а совсем рядом – и того хуже. Каждый раз, выходя из дверей – неважно, дома или клиники, – она должна была перестроиться, заново осмыслить жизнь и себя. Но два месяца назад муж купил ей машину, и теперь Маргарите Вениаминовне приходилось хитрить: сделает два-три неспешных круга по больничному саду и только потом идет на стоянку. Пройдешь, пошуршишь листьями по неасфальтированным дорожкам – и жить веселее. И проблемы как-то решаются. Сегодня у Маргариты Вениаминовны было ощущение, что в проблемах она увязла, причем по всем фронтам. И с этим следовало разобраться.

Тревожно дома. Тревожно на работе. Тревожно с собой.

Начнем с работы. Треть случаев сложные, остальные – банальность. Но ведь это как обычно, как всегда. Тогда что? А то, что расстроил разговор с Симаковой. Давление высоченное, с таким и в тридцать нечего даже думать рожать, а тут – сорок три, лишний вес, отеки... И объяснила всё будто бы правильно, двух мнений быть не может: нужно прерывать. Завтра надо собрать консилиум и отправить Симакову в перинатальный центр, пусть делают что надо, то есть стимулируют. Можно, конечно, подождать две-три недели – но только в центре. Шансов нет, это видит любой интерн. А Симакова не понимает. Значит, это она все-таки не смогла объяснить как нужно. Нет, не то... Она смогла. Но при этом была раздражена и даже, кажется, кричала. И – злилась. А злилась оттого, что сначала они тянут с детьми сколько могут, решают свои сиюминутные проблемы – то у них карьера, то муж запил, то еще чего-нибудь – а в сорок надумывают рожать. А организм говорит: извини, не могу!.. И ведь еще спорят с пеной у рта, доказывая, что это нормально. Мол, на Западе первого ребенка заводят после тридцати пяти, второго – после сорока.

Итак, она злилась. А если Маргарита Вениаминовна злилась, то причина была, как правило, в ней самой. И кто-то на внешнем плане, в сегодняшнем случае Симакова, ее проявлял.

Да. Симакова. И еще Гончарова. Здесь вообще ничего не понятно: без всяких видимых причин матка всё время в тонусе. Когда дежурная сестра сказала, что Гончарова лежит и держит ее руками, Реутова не поверила, пошла проверять. Полчаса сидела рядом – точно, матка расслаблена только тогда, когда на ней руки. Прямо цирк какой-то, первый случай за всю практику. Толстобров прав: причина в голове. Выписывать в таком состоянии нельзя, но и держать здесь до бесконечности тоже не получится. Значит, и ее в центр. Во всяком случае, шансы есть.

Итак, она рассердилась. На себя. А рассердилась потому, что увидела: эти женщины цепляются за возможность родить изо всех своих сил. Первая рискует собой, вторая словно очертила вокруг себя круг, и за чертой осталась вся остальная жизнь, в том числе новый муж и старший ребенок.

А она, акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат наук, не сделала ничего, чтобы родить, хотя выходов было как минимум два: искусственное оплодотворение – раз, забеременеть от другого – два. На первое понадобилось бы несколько попыток, каждая – бешеные деньги и километры нервов. А других мужчин в ее жизни не было и быть не могло.

Ей казалось, она давно переболела и успокоилась. У нее было даже свое обоснование этой ситуации, и заключалось оно в том, что счастья людям дают одинаково или почти одинаково, но в чем-то всегда обнаруживается прокол. У кого-то плохие родители и нищее детство. У кого-то муж – алкоголик (ничтожество, бабник, неудачник – нужное вставить) или бросил, когда выросли дети. У кого-то проблемы с квартирой, у кого-то – с местом в жизни, с поприщем, как говорили в старину. То есть лимита благополучия на все сферы жизни явно не хватает, вот что-то и остается неохваченным. Ее неохваченная сфера – дети. Зато всё остальное было выше общепринятых стандартов: мама-папа – научные работники, заботливые родители, огромная квартира в центре, избранный круг общения, летом Крым, золотая медаль в школе, сказочно легкое поступление в медицинский, любовь, муж, достаток. И еще – аромат праздника жизни, который сопутствовал ей всегда. Это ведь тоже дар – уметь радоваться жизни. Маргарита Вениаминовна – умела.

Вот именно что у-ме-ла. Глагол стоит в прошедшем времени. А в настоящем что-то не выходит. Как говорил герой одного известного фильма: «Сначала, в молодости, счастья было много-много, а потом оно делалось меньше, меньше, меньше, и теперь его почти не осталось». И началось это где-то в тридцать семь – тридцать восемь. Ну да, всё как у всех – кризис среднего возраста, когда нестерпимо хочется хоть что-нибудь изменить. Женщины – она знала это как врач – бросаются рожать, мужчины пускаются во все тяжкие или затевают собственный бизнес. Одна ее старинная знакомая продала всё, зашила деньги в чулок и уехала с этим чул-

ком в Прагу, года полтора рыскала в поисках работы, а потом ничего, выкарабкалась, даже вышла замуж.

Ей сорок один, скоро будет сорок пять, потом пятьдесят, и тогда перемен не захочется. Последний поезд уходит сейчас, а она ничего, ничего не делает. И – злится. Значит, для начала нужно понять, что делать. Да ничего она не может сделать: жизнь ее крепко сцеплена с жизнью мужа, определена и разлинована, как тетрадь первоклассника.

Реутова прошла несколько шагов и остановилась в смутном предположении: а что, если точно такие же мысли грызут и Валеру? Всё – поменять. А что он может поменять? Ее, жену. Нет, он консервативен, не любит перемен. А вдруг?

Ну вот, додумалась... Стоп. Сейчас придет домой, тонко нарежет овощи, быстренько запечет свинину с картошкой, и они сядут ужинать – уютно и долго. Это ведь тоже много: милый, уютный семейный ужин.

Зазвонил телефон. Она не выносила мобильных телефонов и созванивалась только с мужем, зато несколько раз в день. Эта традиция – подтверждать свое присутствие в жизни другого – установилась давно и всегда поддерживалась. Но сегодня он звонил первый раз. Занят. Готовит выставку. Придет поздно. Пусть она ужинает и его не ждет. Ах, да, у него же выставка, как она могла забыть! Конечно, спасибо, что позвонил. Она даже не расстроилась, в какой-то момент решила, что заедет к нему в мастерскую, но тут же передумала и пошла прежней дорогой. Пусть делает что хочет – может, ему вообще нужно побыть одному. Или с кем-то. С чем-то.

Возвращаться домой сразу расхотелось. Значит, три варианта: вернуться на работу – накопилось много писанины, заехать к Светке или покататься за городом – посмотреть на воду... Нет, только не на работу. И не к Светке: все разговоры переговорены, проблемы обсуждены и изъедены, как старые пуховые платки. Светка ненавидела мусор и выхлопные газы, особенно выхлопные газы, переехала из-за них за город и теперь мечтала улететь, например, в какую-нибудь Новую Зеландию – чтоб уж никакой тебе грязи. Муж ее на эту тему колотил тарелки строго два раза в месяц, исчерпав весь словарный запас в объяснениях, что его бизнес может процветать только здесь, так что пришлось бы говорить только об этом...

Реутова села в машину и подскочила как ужаленная.

– Как вы сюда попали? – вскрикнула и тут же подумала, до чего стандартно люди реагируют в подобных ситуациях.

Сзади сидел ее интерн Кириллов и протягивал ей что-то. Кажется, грейпфрут.

Он и был героем третьей ситуации, которую она должна была обдумать, но не успела.

– Как вы сюда попали, Сергей Леонидович?

– Можно просто Сергей. – Кириллов вышел из машины и пересел на переднее сиденье.

– Я забыла ее закрыть?

– Нет, я взломщик и могу беспрепятственно войти в любую машину.

– А сигнализация?

– Ну, взломщики ее умеют отключать.

– Зачем вы сюда забрались?

– Дождик начал накрапывать, а вас всё не было и не было. Опять по саду гуляли.

– Вам что-то нужно?

– Нет. Я хотел вас увидеть.

– Зачем?

– Увидеть и откланяться, но у вас такой вид, будто вам некуда идти, и я решил выпить с вами кофе.

– Я не люблю кофе. Действительно, дождь, я отвезу вас домой.

– Мне не нужно домой. Не хотите кофе – можно что-нибудь другое.

– Хорошо, кипяченую воду.

– Идет.

Машина тронулась, и Реутова подумала, что не поняла, когда и почему согласилась на его предложение.

Высоченный и стройный, в свои двадцать семь лет он всё еще походил на студента. То, что ему двадцать семь, она узнала в отделе кадров, после того как стала наткаться на его взгляд во всех коридорах больницы. Кириллов смотрел многозначительно, почти не разговаривал, опаздывал на дежурства и иногда караулил ее у выхода из сада. Она даже мужу рассказывала об этом со смехом, и ему скорее нравилось, чем нет, это внимание, подтверждавшее ее женскую состоятельность. Впрочем, всё закончилось два месяца назад: Кириллов ушел в отпуск, а после уволился. Она вздохнула с облегчением, затем с сожалением, вскоре забыла, а вчера он позвонил в отделение и сказал, что нужно увидеться.

Хорошо хоть стоянку не видно из окон больницы. Ну, это ж какая пища для добрых коллег: она интимно беседует с бывшим интерном на глазах у изумленной публики. Да нет, они тактичные, сделают вид, что ничего не видели, а она навсегда потеряет свою гордую уверенность. И из-за чего? Из-за глупой фишки, как они там говорят. А в том, что это озорство, она ни минуты не сомневалась.

Маргарита Вениаминовна старательно вела машину и почти не смотрела на Кириллова. Она всё еще боялась дороги и не могла одновременно говорить и вести машину. Да и он тоже, слава богу, молчал. Реутова решила сделать два своих привычных круга, высадить его и ехать домой. Ей вдруг захотелось дома, комфорта, старого кресла, предсказуемости... Надо бы еще завести кота, да, кота, чтобы ждал ее с работы.

Она тормознула на очередном светофоре, немного расслабилась, взглянула на Кириллова и обомлела: тот спал. Спал?! Спал. Сзади посигналили, она тронулась, собственно, не зная, куда ехать, немного подумала и повернула к Неве.

Здесь, на окраине города, река текла обычная, «простоволосая», без гранитных оков, и выглядела куда живей и приятней, чем в центре. Надо остановить машину и подождать, пока он проснется. Будить – значит ступить на новую ступеньку отношений. А так они посторонние люди.

Маргарита Вениаминовна позволила себе взглянуть на Кириллова внимательнее. В его довольно стандартном русском лице вдруг проступили восточные черты – остро очерченные губы, как будто ломаные брови, чуть выступающие скулы. Так и хочется примерить шлем Чингисхана. Странная внешность, всё время меняющаяся. В памяти он ей представлялся совсем иным – светловолосым и круглолицым, а сейчас это почти брюнет с выраженными последствиями монголо-татарского ига. Может быть, оттого, что она его видит близко? Смуглая кожа или загар, по всему лицу крохотные родинки.

Взломщик машин... Сейчас как взломает и ее, и машину! Но почему-то не было страшно. И раздражение тоже куда-то ушло: хотела провести вечер вне дома – на, проводи. С ней так часто бывало, что вдруг, ни с того ни с сего, исполнялись сиюминутные желания, и Валера иногда шутил, что у нее есть экстренная связь с Богом – маленький красный телефончик. Последнее внезапное желание сбылось недавно, когда к ним в отделение пришла новая старшая медсестра, вульгарная тетка, говорившая сестрам «ты» и строившая глазки, заплывшие такие глазки, даже многодетному Толстоброву. Однажды, наткнувшись на старшую, курившую в форточку, Реутова прошептала: «Ты улетишь, как этот мутный дым». Дым Маргарита Вениаминовна тоже переносила с трудом, а в сочетании с теткой он оказался просто невыносим, ее даже слегка затошнило. И что же? Месяца через полтора та уволилась, будто ее и не было. Говорят, купила квартиру в другом районе.

Реутова вышла из машины, побрела по берегу, надеясь, что Кириллов проснется от хлопанья дверцы, но тот не проснулся. Воздух здесь был совсем другой, не такой, как в городе, – холоднее и одновременно мягче. Она любила бывать на воздухе, особенно в лесу. Только гулять

было не с кем. У подруг дети, муж с утра до вечера занят, а одной – ну какой же лес. Побродив немного, вдруг решила вернуться к машине: сейчас на ветру лицо съежится и будет дряблым, а она, прости господи, с молодым человеком. Не зря ведь делают подтяжки. Как ни ухаживай за этой кожей, в экстремальных ситуациях она тебя выдает. Пока вроде маскировать морщинки несложно, но от тонального крема пришлось отказаться, от яркой помады – тоже. Хорошо, вес остается прежним, и она вполне могла бы надевать свои студенческие платья, страшно подумать, какой давности.

– А, вот вы где! Насилу отыскал.

Реутова крупно вздрогнула и обернулась. Перед ней стоял Кириллов и, кажется впервые за время их знакомства, улыбался. И опять лицо его изменилось, будто он стал еще беспечнее и моложе.

– Насилу... Отыскал... Так говорили двести лет назад, – проговорила она машинально, а сама разозлилась от этой внезапности. Он просто неприличен, наконец, ей надоели его кульбиты.

– Всего лишь сто – сто пятьдесят. Простите, ради бога, я уснул. Всю ночь ремонтировали у друга машину, не спал ни капли. Кстати, вашу подвеску тоже нужно немного подправить, пока это совсем несложно.

– Какую подвеску? – не поняла Реутова. – Нет на мне никаких подвесок. – И тут же рассмеялась своему невежеству: – А, подвеску! Так машина совсем новая. Неужто в ремонт?

– Новая не новая... Не рассчитаны они на наши дороги. Лучше поправить сейчас. Давайте так: я приеду и заберу ее завтра.

По лицу Маргариты Вениаминовны проскользнула тень недоверия, и Кириллов это заметил:

– Не беспокойтесь, ночами я работаю автомехаником. Ко мне идет весь город.

– А днем врачом?

– Да вот нужно выбирать.

– Если нужно выбирать, то не нужно выбирать.

– Кого это вы цитируете?

– Я не цитирую. Зинаиду Гиппиус. Она говорила: «Если нужно объяснять, то не нужно объяснять». – И, помолчав, добавила: – Звучит, конечно, красиво, но на самом деле объяснять нужно, причем всегда. Почти всегда. Ведь человек не обязан читать ваши мысли.

– Да нет, вы правы, в моем случае выбирать не нужно, я, видимо, оставлю медицину. Меня уже клиенты называют «слесарь-гинеколог». Согласитесь, для имиджа не полезно.

– Смешно. Зачем тогда учились, интернатуру вот проходите?

– Надо было где-то учиться. Отчего ж не в медицинском? Мама очень хотела. Да я не жалею. А интерном в вашу клинику пошел из-за вас. Мы у вас были на практике на пятом курсе.

– Не помню.

– Ну, ясно, я и не рассчитывал.

Становилось совсем холодно, как-то внезапно накатили сумерки, и Реутова направилась к машине:

– Пора. Меня и так уже потеряли.

– Если б потеряли, давно бы уже позвонили.

Она и сама удивлялась, что муж не звонит, и сто раз уже позвонила бы ему сама, не будь здесь Кириллова. При нем разговаривать с Валерой она ни за что бы не стала.

– Да, собственно, у меня к вам дело... Маргарита... Вениаминовна... Сегодня вторник, а в субботу у меня день рождения. Хочу вас пригласить на день рождения. Придете?

– Меня?

– Вас.

– Но ведь на день рождения приглашают близких друзей, родных... – Он опять застал ее врасплох, и она не знала, как реагировать. Должно быть, в таких случаях отшучиваются, блещут остроумием. Сорят умом, как писал Гончаров в «Обрыве».

– Предрассудки. Приглашают того, кого хотят видеть, не так ли? Впрочем, до субботы еще есть время, я позвоню.

И пошел прочь.

Она хотела было его остановить, но тотчас раздумала, решив, что если он имел цель сбить ее с толку, то цели своей достиг и пусть отправляется восвояси.

«Обрыв», «Обрыв». Ее любимый роман. Почему-то для всех Гончаров – это «Обыкновенная история», разумеется «Обломов», а по ней так ничего лучше «Обрыва» и нет. И этот Кириллов ей напомнил Марка Волохова: непринужденность, бесцеремонность, напор и равнодушие к общественному мнению. Надо перечитать.

Набрала мужа – выключен телефон, набрала домашний – не отвечает. Посмотрела на часы – восемь. А с работы она ушла в четыре. Полчаса гуляла в больничном саду, полчаса здесь, какое-то время ехали – значит, он спал часа два с половиной. И вечера как не бывало. Сразу устав и озябнув, Реутова медленно поехала домой. Зашла в магазин, накупила всякой всячины и, пока поднималась на свой седьмой этаж – лифт, как всегда, не работал, – решила, что на день рождения пойдет. Ведь он уверен, что она откажется, для того и пригласил. А она согласится, отчего бы нет. Придет, посидит с полчаса и встанет между салатом и горячим. Мигрень, голова разболелась.

Однако куда подевался Валера? Просто пропасть, не предупредив, он не мог. За восемнадцать лет совместной жизни такого не бывало. Даже когда в природе не существовало сотовых телефонов, пейджеров и интернетов, он умудрялся звонить отовсюду. Уж не случилось ли в самом деле чего? Значит, так. Сейчас она что-нибудь быстренько съест и, если он не объявится до одиннадцати, поедет в мастерскую.

После крепкого чая и теплой еще булки с сыром стало заметно веселее, Реутова забралась с ногами на диван, включила телевизор без звука...

Уснула мгновенно и, засыпая, увидела Кириллова: он шел ей навстречу, весь в белом. Невнятно играла музыка. Вдруг она стала нарастать, но он поднял палец и велел музыкантам остановиться. Только сейчас она заметила оркестр, где-то наверху, как в цирке. Музыканты прекратили играть, и Интерн – так она его назвала про себя – сказал торжественно и гулко: «Не бойтесь, Маргарита Вениаминовна. Мы должны были встретиться. Так пусть это будет здесь и сейчас. Не беспокойтесь, мне сто тысяч лет, я гораздо старше вас».

Вновь зазвучала музыка, и они пустились в какой-то замысловатый танец – будто бы действительно в цирке. И зал был полон. В зрителях она узнавала знакомых, друзей. Только Валеры не было. Она стала его искать глазами и заметила у самой дальней колонны. Он там стоял, смотрел на нее без выражения, ей стало страшно и стыдно, она прекратила танцевать и выбежала в один из проходов. Выбежала и услышала звонок, какие бывают в театре. Звонок не прекращался, и она поняла, что спит, с усилием проснулась, бросилась к телефону, сорвала трубку, но услышала лишь гудки.

«Боже ты мой, жуть какая. Сколько же я спала? Половина одиннадцатого».

Она чувствовала, что звонил не Валера, скорее всего, ошиблись номером, и, значит, звонок был нужен лишь для того, чтобы ее разбудить. И это с ней бывало сплошь и рядом. Допустим, надо вставать, а не хочется – тут обычно звонил кто-то совершенно ненужный, вмиг поднимал ее с постели, и она уже не удивлялась этим посланным «с неба» звонкам.

Одевшись потеплее, она спустилась к машине и поехала в мастерскую. А куда еще? Больше всё равно некуда. Если и там ничего не прояснится, придется обзванивать знакомых: вы знаете, у меня муж пропал, помогите, пожалуйста...

Как быстро пустеют дороги в будний день. Еще два часа назад поток и пробки, а сейчас никого, будто все провалились. Нет, они не провалились: сидят по кухням, пьют чай с конфетами. Только она, бедная уставшая женщина, тащится в ночи в поисках вчерашнего дня. Вот и мастерская – закрыто. Надо подольше позвонить – раз, два, три, пять, семь, десять – и уже потом открывать. Хорошо, есть дубликаты ключей, а то бы пришлось взламывать... Так и есть, горит свет. Прошла, не раздеваясь, в небольшую кухню – остатки еды, жуткий беспорядок, недопитая бутылка водки, две рюмки. Это уже что-то новое. Валера мог, конечно, выпить в компании, но так редко и немного, что как собутыльник был явно несостоятелен. Куча окурков... Ага! Сигареты «Парламент» – выкурено полпачки. В их окружении «Парламент» курил только Сашка Дуванов, Валерин друг еще с армии. Три года назад он развелся, уехал в Германию по еврейской программе, потому что по матери был Фриндберг, и вот, значит, нагрюнул. Судя по количеству сигарет, сидели часа три, не меньше. Понятно. Так, а это что? Вымытый бокал и полбутылки шампанского в холодильнике. Значит, была дама. Та-а-к... А потом они все вместе сквозь землю провалились. Но тогда он точно предупредил бы – во всяком случае, подстраховался. Нет, с дамой что-то не вяжется. А! А может, Сашка был с дамой – наверное, жениться собрался. Скорее всего, так. И шампанское...

Ей давно говорили, что в ней умер следователь, а Валера так просто пугался, когда жена начинала из мелочей выстраивать умозаключения и, бывало, рассказывала весь его прожитый день. Заглянула в туалет и ванную, наконец, вошла в крохотный кабинет и обомлела: свесив руки-ноги со старого потертого диванчика, муж мирно спал после попойки. Спал, улыбался и что-то бормотал во сне, не поддаваясь никаким попыткам его разбудить.

– Придурки! – с облегчением проворчала Маргарита Вениаминовна, объединив их с Кирилловым. – Нет, но какие придурки! Один спит, второй спит, а ты бегай между ними до глубокой ночи. Закон парных чисел. Экий дурацкий день.

Реутова почувствовала: она так устала и перенервничала, что охотно бы и сама заснула прямо в мастерской.

Она вышла на балкон, взглянула на светящийся город с высоты четырнадцатого этажа, написала мужу короткую записку и поехала домой.

* * *

Валера заявился в седьмом часу утра, помятый, с пирожными и извинениями, и она его между прочим поздравила с Сашкиной женитьбой.

Муж опешил:

– Ты что, с нами была? А почему я не помню?

– Не была я с вами. Иди в душ, мне еще блузку надо погладить.

– Рит, ну серьезно... Не сердись. Я и сам не понял, как напился. Представь, звонит Сашка, я, говорит, в Питере, приехал на неделю. Давай, говорю, ко мне. А он не один, с немкой. Рыжая такая. Толстая. Симона. И влюблена в него, как кошка. Посидели, она по-русски ни бум-бум. Потом я хотел позвонить, а с телефоном что-то случилось. Кажется, он упал в банку с рассолом. Немка его сушила феном, у нее такой маленький, портативный, а Саня сказал – бесполезно. Эти навороченные, как что, сразудохнут.

– Вечером поговорим, а?

– Слушай, башка раскалывается. Дай чего-нибудь от головы, нет, не давай... Я в ванну... Приезжай скорей.

На стоянке возле больницы ее поджидал Кириллов:

– Я уж думал, вы забудете.

Встретив ее непонимающий взгляд, достал из кармана бланк доверенности:

– Ну, мы же договорились, что я поправлю подвеску. Давайте ключи.

– Делайте что хотите... – Протянула ключи, подписала доверенность и почти бегом направилась к своему корпусу.

Половину пятиминутки говорили про ее больных. У Симаковой опять давление под двести, ничего не действует. Гончаровой всю ночь капали, хотя еще вчера всё было вполне сносно.

С нее и начала обход:

– Рассказывайте, Мария Федоровна. Что случилось? Поволновались? Подвигались? Дома что-то?

– Вечером. Часов в восемь. На ровном месте. Я совсем не ходила. Почти ни с кем не говорила. Дома всё хорошо. Но она начала напрягаться. Вызвала дежурного врача – она сказала: капать. Я спросила: может, подождать, мне уже столько всего прокапали? А она: чего еще ждать?

– Ну, не так уж вам много и прокапали. Магnezия совершенно безвредна – магний есть в организме, это для него не новость. Скоро, видимо, начнем гинепрал, пока еще все-таки рановато. Но это тоже надежный препарат.

– Пыталась успокоить ее руками – бесполезно. Она категорически отказывалась слушаться.

– Сегодня посмотрю вас на кресле. Если будут показания, отправим в перинатальный центр.

– А если нет?

– Еще понаблюдаем. Возить туда-сюда – тоже риск. Сейчас как себя чувствуете?

– Сейчас хорошо. Когда убирала капельницу, она напрягалась. Я заставила себя заснуть. А проснулась – она вверху. Как в день поступления: капали-капали-капали – а она сжималась и сжималась, я положила руки на живот, уснула. Проснулась – всё расслаблено.

– Чудеса. Отдыхайте.

Встала, пересела к Симаковой:

– Что решили, Зоя Николаевна? Вы же видите – давление снизить не можем. Ничего, кроме магnezии, капать тоже не можем.

– Вы хотели созвать консилиум.

– Созовем. Но в пятницу тире в понедельник я вас отправляю в перинатальный центр, в палату интенсивной терапии. Если вы настаиваете, то это маленький, крохотный шанс. Так... А где Вика Горохова? Опять не ночевала?.. Ночевала или нет? Понятно...

– Так у нее ребенок дома маленький, не захочешь – побежишь.

– Вот что с ней прикажете делать? Пропустила укол. Последнее предупреждение, в следующий раз выписываю на все четыре стороны. Срок достаточный, в любой момент можно вызвать «скорую» и ехать в роддом... Так, Оксана Михайловна, дайте-ка я вас послушаю. Вот кто меня радует, так радует... Ну вот, потихонечку, помаленечку. Сейчас доедем до тридцати недель, и можно будет немного расслабиться. Домой ни ногой. Гуляйте, если можете спуститься вниз. Не можете – идите на балкон. Только смотрите, чтобы там не курили. Сегодня сделаем вам УЗИ и доплерометрию, посмотрим...

– Ой, всё в один день? Можно что-нибудь завтра? У меня еще физиопроцедуры.

– Хорошо, доплер завтра. Зоя Аркадьевна, вас я посмотрю попозже. Передайте Гороховой, чтобы зашла, когда явится.

* * *

Реутова вышла, и все выдохнули. Обход сделан – полдня, считай, прошло. Надо жить до вечера. Вечером кино – и занавес.

– Зой, ну не убивайся, не убивайся ты так! Ну она же сказала – в центр. Может, там дотянут. Она же сказала – шанс.

– Не напрягайтесь, девочки, не надо. Как будет, так будет. Всё, точка.

– О! Горохова нарисовалась!

Вика вползла через окно и, как утка, проковыляла к своей кровати:

– Чуть не проспала, бабка будильник сломала, всю ночь часы караулила.

– Проспала-проспала, только что обход закончился, Реутова тебя с собаками ищет, грозит выписать.

– А, пусть выписывает. Сколько можно!

– Она так и сказала. Пусть, говорит, если что, вызывает «скорую» и – в роддом. Беги к ней, да повежливей там.

– Шас, только расскажу. Вчера еще хотела, да забыла. Выхожу это я после тихого часа в киоск через больничный сад, а к Маргарите какой-то хмырь в машину садится. Ну, не хмырь, Маш, не хмырь, я хотела сказать, молодой человек, под тридцать, весь из себя отвязный. Она, такая, вспыхнула, прогнать его, видно, хотела, но потом ничего, поехали. Красавчик, на Домогарова похож, только выше и тоньше. Как говорит Тихая Зоя, мальчик из пробирки – прозрачный, длинный и худой.

– Да, может, родственник?

– Ага, внучок.

– Вик, ну какой внучок! Она еще вполне ничего. Сколько ей – тридцать семь?

– Больше, Оксанка, больше. Сорок – сорок два.

– Ну и что? Сейчас полно таких браков, когда женщина на десять лет старше. У нас на работе все с ума посходили: три свадьбы подряд, когда невеста старше. От последней мы вообще в обмороках лежали. Славик, наш Аполлон Бельведерский, двадцать пять лет, девки шли пешие и конные, – женился на тридцатисемилетней секретарше: страшная как страх, да еще с ребенком.

– Не в этом счастье советской девушки. Я говорю, не в возрасте.

– А в чем?

– В шарме. В умении держаться. В уверенности. А возраст... ну что возраст?

– Вот в Реутовой как раз и есть шарм, есть покой, уверенность, достоинство...

– Да рыба она, наша Реутова. Одни манеры, больше ничего.

– Иди-иди, а то попадет. Скажи, что на минуту опоздала.

А Сашино место пустует недолго.

– У вас тут свободная койка? У вас. Принимайте новенькую. Вернее, старенькую. – Дежурная сестра кивает на молоденькую женщину с распущенными волосами и кучей пакетов в руках. – Давай устраивайся, сейчас доктор придет. Волосы прибери.

Оля Старцева ложится в клинику планово каждые две недели. У нее порок сердца. Ей и жить-то с большим напряжением нельзя. Но Оля окончила институт, вышла замуж и забеременела. Прошла обследование у всех специалистов, все сказали «нет», а она решила рожать. Пока всё более или менее нормально, но ведь только шестнадцать недель, самое опасное – последние два месяца, а рожать с таким сердцем вообще нельзя.

Оля твердит одно:

– Если рожать, то сейчас, пока мне двадцать пять. Мы с мужем всё обдумали, и он меня поддерживает. Я понимаю, что могу погибнуть, но мы так его хотим! По крайней мере шанс есть, и я его использую. Вы меня не утешайте – как будет, так и будет.

Это «как будет, так и будет» звучит в нашей палате изо дня в день прямо-таки несчетно.

Какое-то нечеловеческое, жертвенное смирение.

Действительно, не нужно никого утешать.

Глава II

22–24 недели

Я лежу, смотрю в тусклый больничный потолок и думаю о том, что, как ни стараюсь, не могу нащупать под ногами твердую почву.

Я запретила себе думать о завтрашнем дне, а сегодняшний разбила на сегменты. Первое – встать и поесть, второе – прожить до обхода, дальше – до обеда и, наконец, до ужина. Ужин я считаю концом дня, его финишной прямой, после которой что-то еще телепается, но оно уже не в счет. После того как мне опять капали всю ночь, вернулся страх вертикального положения и любого перемещения.

У санитарки тети Лиды для меня один рецепт – «ноги кверху»:

– Ты знай себе старайся и лежи. Бог, он всё видит. Посмотрит, как ты стараешься, и смилостивится. Вон, забыла как ее, ну, лежала тут у нас год назад – и капали и капали, и капали и капали, Маргарита Вениаминовна ни на что не надеялась, а ведь выносила, вчера с ребеночком приходила, благодарила. И ты выносишь, если постарайся. У тебя не кровит? Вот и лежи как привязанная.

Я лежу, мне кажется, уже целую вечность, и нет ни прошлого, ни будущего, а только эта палата, эта кровать, эти дверь и окно.

Пытаюсь вспомнить из своей жизни хоть что-то, похожее на мою теперешнюю ситуацию, – и не могу. Не было ничего подобного.

Вот у Шуман – у той было, причем в молодости. Как-то, когда я в очередной раз донимала ее своим бредом о ребенке, она рассказала, что до рождения Сони у нее было два пузырных заноса, то есть две ложные беременности, и ей пришлось полгода провести в раковом корпусе: дело в том, что пузырный занос через раз перерождается в рак.

– Ты представляешь, Машка, тетки там мерли как мухи. Как мухи...

– И что?

– Ничего. Жила себе и жила. Я и мысли не могла допустить, что это может плохо кончиться, – что ты хочешь, девятнадцать лет. Но больше я с беременностями не связываюсь.

И еще она всё время говорила:

– Чтобы родить, нужно что? Правильно, забеременеть. А дальше всё идет само собой.

Как же, само собой... Как же...

Мне всё кажется, я должна до чего-то додуматься, что-то понять, и тогда станет легче. Но додуматься не получается, и я, как улитка, переползаю из одного сегмента дня в другой, из одного в другой, пытаюсь радоваться хотя бы этому.

Иногда пытаюсь читать. Алеша принес «Курсив мой» Берберовой. Читанный-перечитанный, любимый «Курсив мой». Если постараться, можно даже найти параллели с моей ситуацией. Они там, в эмиграции, выживали, и я выживаю. У них неизвестность, и у меня неизвестность. На этом, впрочем, сходство заканчивается. Мои зрочки обращены внутрь, их – вовне. Их волновала исключительно жизнь духа, а все мои мысли – о плоти. Я сосредоточена на частном, они – на целом: «Когда Набоков написал „Дар“, а потом „Защиту Лужина“, я поняла – всё наше поколение оправдано...» Всё потерять, ютиться на чердаке, иметь одну смену постельного белья и думать о себе как о части «литературного целого»! Иногда мне удается погрузиться в их время настолько, что я почти забываю о своем. А еще я думаю о том – эта мерка сейчас у меня обязательна буквально для всех, – что у Берберовой не было и, должно быть, не могло быть детей, и, как я подозреваю, это ее ничуть не угнетало: она была сосредоточена на самопознании, соотношении времени и себя, на исследовании жизни. Надо будет перечитать потом, в нормальном состоянии.

Дежурная сестра позвала в смотровую. Это нужно пройти целый коридор – метров тридцать, повернуть налево и еще метров десять. Жуть. Просить каталку неудобно, да и Реутова настаивает, чтобы я понемногу ходила. Да буду, буду я ходить. Вот долежу до тридцати двух недель, тогда и буду. А сейчас – не могу, не могу...

Хуже всего, что я и сидеть не могу. Если выбирать между ходить и сидеть, то лучше ходить. Как только сажусь, матка сразу собирается в комок, и нужно скорее ложиться, класть руки на живот, чтобы ее унять. Ем я обычно стоя, очень быстро, затем ложусь и лежа пью чай.

А еще совсем не могу лежать на жестком, поэтому все обследования, которые проводят на кушетке, для меня мука мученическая. Вчера делали УЗИ – из-за жесткой кушетки начались сокращения, пришлось всё бросать и возвращаться в палату. Слава богу, в отделении одни панцирные кровати, а вот что я буду делать дома, если меня все-таки выставят... Как же, выставят, да и не хочу я домой, дома страшнее, чем здесь.

Кое-как, с остановками, добрела до смотровой. Реутова посмотрела на кресле и опять сказала, что шансы в общем есть. Ага, «больной, надейтесь». Пока остаюсь здесь, но видно, что она озадачена. Когда одевалась, невольно слышала их разговор с Толстобровым.

– Коля, я с Гончаровой не справляюсь. Уж было подумала о выписке, а позавчера – на тебе, всё хуже, чем при поступлении. Что капаем, что нет... Просто не знаю, что делать.

– Да чего там знать. Ну нервная она, всё время дергается, вот импульс и идет. Голову надо отключить. А всё остальное нормально. У меня жена такая... Да и возраст уже, согласись? Пусть лежит – может, вылежит.

– Тридцать девять – не так и много. Помнишь, в том году Чекалина в сорок пять первого рожала, и ничего. Домой еще на выходные бегала. А эта даже сидеть не может. Да у нее до родов все мышцы атрофируются, как она рожать-то будет при таком тотальном лежании?

– Прокесарят. Твое дело сохранить. Вот и сохраняй. Букетик у тебя, конечно. Гончарова, Симакова, Горохова, Мироненко...

– Старцева с пролапсом третьей степени да еще с аритмией...

– Ну вот, а ты прицепилась к Гончаровой. Ты не Господь Бог и даже не Михаил-архангел, угомонись. Пошли вон кофе пить. И знаешь, чем дольше я работаю, тем больше мне кажется, что мы здесь не очень-то и нужны.

– То есть как это?

– Ну, давление, почки, сердце – это ведь всё на внешнем плане. Подозреваю, что существуют некие глубинные причины того, что беременность прерывается или оказывается под угрозой. Их бы научиться устранять! Гинепралом здесь не поможешь. Мой руки, я пирожки принес.

Домой хотела выписать. Нельзя меня домой. Не поеду. Буду лежать. Наверное, я ненормальная. Все хотят домой, отпрашиваются, убегают, просят дневной стационар. Только я хочу одного-единственного – чтобы мне позволили лежать вот здесь, у этого окна, и, по возможности, не вставать совсем. Про дом я не помню – был ли он, не был... Забыла про жизнь и про дом. Главное – пролежать один час, затем другой, третий, четвертый. Как это ни странно, но мне нужна полная сосредоточенность. Пока я сосредоточенна, ничего плохого случиться не может.

Когда ползла по коридору, глянула на себя в зеркало – душераздирающее зрелище. Тетка без возраста в розовой пижаме. И волосы надо было красить еще два месяца назад.

* * *

– Маш, Маш, эта скотина... Он появился и сказал... Маша... – Вика Горохова трясет меня за плечо, и мне приходится расстаться со сном, в котором я уезжаю автобусом на какую-то экскурсию, заняла место маме и жду, а ее всё нет и нет, автобус, в конце концов, отъезжает,

а я кричу и умоляю подождать. Ладно, со сном определюсь позже – девчонка вся в слезах. Обычно со снами я разбираюсь на месте, то есть тут же их анализирую и, если мне что-то не нравится, приделываю счастливый финал, как учат парапсихологические книжки в мягкой обложке. Но сейчас не до этого.

– Маш, Маш, он не хочет ребенка! – Вика рыдает взхлеб.

– Кто, Вика, кто? – Нет, от нее сейчас ничего не добиться. – Зоя, что случилось-то, скажите толком. Ее же выписывать собирались?

– Да теперь уж лучше пусть еще подержат. Нарисовался пропащий Степан, увидел живот и, ясное дело, упал в обморок. Готов заплатить, лишь бы она избавилась от ребенка. Понятно, у него семья, дети, по выходным диван и пиво. Видела бы ты его... К Реутовой хотел бежать, перепугался насмерть. Ну, пусть, пусть сходит. А лучше к Толстоброву – он вчера какого-то дяденьку с лестницы спускал на эту тему. Но там вроде муж был – орал, что не нужен второй ребенок.

– Забудь, Вика, не стоит он того. Во-первых, ну восемь же месяцев! А во-вторых, ты ведь для себя ребенка оставляла? И, в-третьих, зачем тебе такой мужик? Пусть жена с ним и возится, бедняга. Да слава богу, что он вот так, по-честному. А то бы еще пять лет ждала.

– Вот-вот, – поддержала Зоя. – Я тоже подумала: такие мужики всё время ни да ни нет – никакой ясности, молчат и блеют. И жене у них «да», и любовнице «да», а там – как вывезет. А этот ведь пришел и выразил свою позицию – и на том спасибо. Короче, не реви.

– Я думала, что он придет и...

– Обрадуется. Да, сейчас...

– Ну, может, не обрадуется, а задумается, что ли. Моя знакомая вот так же встречалась с парнем, а он исчез. Она хотела сделать аборт, а мать отговорила: мол, вырастим и всё такое. А потом, когда мальчику был год, он увидел его – и всё: сыночек, сыночек, не мог оторваться. Женились, девочку еще родили.

– Так он был холостой, Викуся! – всплеснула руками Зоя. – А у твоего комплект: жена, любовница. А когда любовница грозит превратиться во вторую жену и, значит, в проблему в квадрате, то кто же этого захочет? И я бы не захотела. Ну, представь, у меня дома муж и дети – и еще бы на стороне муж и дети. Не-е. Ни за что.

– Вика, мы с Зоей – взрослые тетеньки, послушай нас, пожалуйста. Плюнь, забудь, ставь чай и выбрось из головы.

Вика перестала рыдать:

– И за что мне всё это? Вам хорошо рассуждать, у вас мужья, квартиры, работы.

– Мужья, говоришь... – Громкая Зоя, которая после консилиума убавила свою громкость раза в три, достала из пакета вымытый виноград, груши, какие-то печенья, поставила всё это перед Викой и села напротив, нависая как скала: – Мужья, говоришь... Когда мне было двадцать три, я похоронила человека, который должен был стать моим мужем. То есть я бы похоронила его по-человечески, но он пропал без вести, понимаешь? Жил, жил и пропал. Мы даже не простились.

– А что, тогда война была?

– Нет, не было войны. Уехал к маме в Таганрог на каникулы, куда-то вечером пошли с друзьями – и всё... Если бы мы заканчивали институт вместе, этого бы, я уверена, не случилось, но я получила диплом на год раньше и уехала по распределению в Гаврилов Ям, это в Ярославской губернии. Мы встречались каждый месяц: то я приезжала, то он. И ждали, писали письма. Эти письма до сих пор у меня на антресолях хранятся – роман сочинить можно. Он, Саша, очень хорошо писал... Сначала долго почты не было, а я посреди учебного года уехать никуда не могу. Измучилась, извелась вся – думала, бросил. Дождалась весенних каникул, рванула в Питер, а там никто ничего не знает. Ребята дали таганрогский телефон родителей, позвонила, а мама его спрашивает: «Зоинька, вы не беременны? Нет? Как жаль, у нас хоть

внучек бы остался». И так это было ужасно, нелепо и глупо, что я тогда просто жить не хотела. Не то чтобы покончить с собой, а просто – не быть, уснуть и не проснуться. И так трудно и мерзко было вставать ранним утром в этом Яму – они там так говорили: в Яму, – что все мои силы уходили на это. А нужно идти на уроки, улыбаться – в общем, жить. Поселок маленький: школа-интернат для глухих детей, где я работала, да несколько домов. Мы прямо в школе и жили. Первый раз в моей жизни оказалось, что я сама себе не нужна: как будто потерялась. И всё будто бы пропиталось моим несчастьем – и стены, и воздух, и лес, так что, когда закончились три года, которые было положено отработать, я сразу же оттуда сбежала. В Донецк. Забыла сказать: я сама из Баку, родители русские, их в тридцатые годы туда вывезли из голодающего Поволжья, там и остались. Баку – город хороший, но, кто жил в республике, знает, что русский там – человек второго сорта... Ну вот, а в Донецке мамин дядя, милицейский чин: приезжай да приезжай... Приехала. Сурдопедагоги, как выяснилось, там нужны так же, как ледокол «Ленин», пришлось идти в милицию, в инспекцию по делам несовершеннолетних. В основном занимались лишением родительских прав. Дети запущенные, мамы пьяные, в лохмотьях, ты ходишь с утра до вечера по этим трущобам, а жизнь проходит. Образовался, правда, у меня поклонник, Мыкола, старший лейтенант. Сам чуть повыше собаки, женат. Я и так и сяк, мол, отвяжись, ты, Коля, по-хорошему, – нет, не отвяжывается, проходу не дает, и всё. Пришлось звонить жене: уговорите, говорю, супруга. Утром приходит – под глазом фингал и щека расцарапана. И такой меня смех разобрал: хохочу и хохочу, остановиться не могу, водой отпавали. Мыкола не простил мне этого фингала и настучал полковнику, будто я какую-то алкоголичку лишила прав, детей отправила в детдом и собираюсь въехать в их квартиру. Пара таких диких случаев тогда действительно произошла. Мыколе то ли поверили, то ли нет, но холодок за спиной я почувствовала. Но дело было даже не в этом. После Сашиной смерти образовалась такая пустота, вот будто ты в пустыне, и никого вокруг на тридцать километров... Особенно она ощущалась в выходные, которые куда-то нужно было девать, а девать было некуда. Пойдешь куда-нибудь, а ноги не идут, нет смысла в движении, так и села бы посреди улицы. Но я Мыколе благодарна: если бы не он, сидеть бы мне в этом Донецке, городе роз, и сидеть. А так я – раз! – и написала заявление. Не отпускают. А у меня подруга жила в Перми, уехала за мужем по распределению, томилась, скучала и звала. А в последнем письме она на десяти страницах настрочила, что, по ее предчувствию, а «оно ее никогда не обманывает», меня там ждет судьба. И вот я стою в кабинете начальника и говорю: «Отпустите. Я замуж выхожу. За инженера-нефтяника. Из Перми».

– А чего, у тебя, что ли, жених в Перми был?

– Да какой жених, Вика? Соврала и глазом не моргнула. Как-то само собой вылетело.

Уехала в два дня...

Зоя сделала паузу, пощипала свой виноград, пригладила волосы, насторожилась:

– А вы чего так смотрите?

– Мы слушаем...

– А интересно?

– Очень!

Зоя рассмеялась, походила по палате, наслаждаясь чуткой тишиной, и продолжала:

– Приехала в эту Пермь. Не шедевр, конечно, но в принципе город понравился – и город, и люди. Выделила мне подруга комнату, ну и, естественно, жизнь не сложилась: сидела с их ребенком, была чем-то между нянькой и бедной родственницей. Провела так месяца три, и атмосфера накалилась до того, что перед Новым годом мы поссорились, мне пришлось уйти фактически на улицу. От детского сада, куда я устроилась, дали место в общежитии, перетащила туда свои пожитки, а комната – без слез не взглянешь: кровати, тумбочки облезлые. На четверых. Как добралась до лета, девочки, не помню. Сплошное серое пятно. Соседки мои работали на заводе, – как они говорили, в заводе, – такие же, как и я, старые девы. Всем вокруг

к тридцати. Это сейчас замуж никто особенно не торопится, а тогда до двадцати пяти не вышла – всё, привет... И вот в субботу кто-то говорит: «Так, надоело – идем в ресторан». Ну, идем так идем. Пришли в «Центральный» – он до двенадцати работал, – а там одни мужики сидят, и рядом с нами целая компания. А когда заведение закрывалось, мы вышли вместе, и ко мне прицепился какой-то... ну совершенно пьяный. Я на шпильках еле ноги передвигаю, да еще он повис и висит. И все отправились на Каму. По ходу пьесы выяснилось, что он, этот «перепимший», праздновал в ресторане свое тридцатилетие, все остальные – его гости. Вроде где-то он долго работал и вернулся в город буквально на днях. Подруги с кавалерами ушли куда-то вперед, мы плетемся, и я ему говорю: «Слушай, ведь тебе домой надо, жена, наверное, ждет. А ты не торопиться». «Я не женат», – говорит и достает паспорт, показывает.

– А что, Зой, он тебе совсем не понравился, да? – Вика забыла и про виноград, и про свою беду.

– Да ты понимаешь, он на ногах не стоял, я особо и не смотрела. Вижу, взрослый мужик – значит, женатый... Я, когда мы гуляли, даже присела и покурила: не жених ведь, чего стесняться. Мы тогда стеснялись на людях курить, если и покуривали, то втихаря... Потом он позвонил, позвал меня в театр, потом... В общем, роман закрутился и быстро закончился свадьбой. Самое интересное! Знаете, кем он оказался? Инженером-нефтяником – семь лет сидел на буровой.

Зоя насладились немой сценой, немного помолчала, вздохнула:

– Да, вот так. И мне всё казалось, что это справедливо, ну, то, что мы встретились, и всё так хорошо, что я это заслужила своими несчастьями. И только сейчас понимаю, что мы могли бы и не встретиться: ведь ни до, ни после того я в рестораны не ходила. А если бы не смерть Саши, не мое отчаяние и метание по городам, может быть, я и не оценила бы нашу встречу и уж точно не относилась бы к ней так бережно, как отношусь сейчас.

– И сколько вы там жили, в Перми?

– Пять лет. А потом ему предложили работу в Сестрорецке, и мы уехали.

– Постой-постой, так у вас же дочке девятнадцать, как это может быть, если вы встретились в тридцать?

– Вот думаю: кто первый спросит? Оля – его дочка от первого брака. Он рано женился, быстро развелся, пока девочка была маленькая, жила с матерью, но та вышла замуж, и лет восемь назад Оля переехала к нам. А общий ребенок у нас один, Митя. Я, Вика, что хочу сказать... Иногда жизнь, конечно, дает всё и сразу, но это редко, уж поверь. Обычно всё частями и в разное время. Дали тебе детей – порадуйся, получишь и другое.

– Я тоже теперь буду говорить налево-направо, что выхожу замуж за инженера-нефтяника.

– Да, в этом что-то есть. Митька у нас, когда был маленький, однажды соврал учительнице: мол, зуб болит, отпустите с уроков. А дня через два у него, бедняги, зуб на самом деле так разболелся, что потом лечили целый месяц.

– Ага, значит, надо говорить не специально, а как бы так, между прочим.

– Похоже, да. В общем, забудь ты про Степана, не задерживайся на этом участке, а принимайся обустраивать жизнь. Для начала брось курить и перестань реветь. Главное сейчас – родить нормально, и твоя женская программа будет, в принципе, выполнена. Лет через восемь дети подрастут, сможешь заняться собой. Бабушка какая-никакая есть, справишься... Оксана, эй, ты что? Вот на тебе, одна рыдала, теперь другая...

Все обернулись на плачущую Оксану, которая, не сводя глаз с Зои, качала головой и всхлипывала:

– Да история твоя, Зоя. Вся с виду из себя благополучная, а вот оно на самом деле как. А если бы вы с ним не встретились?

– Была бы старая дева с котенком. Но это худший вариант, конечно. На самом деле вариантов тьма. Видишь, пятнадцать лет назад не было Интернета и всего прочего, что есть сейчас. Я не могла, скажем, уехать за границу и там попытаться как-то устроить свою жизнь. Не могла не поехать в этот Гаврилов Ям. Да что там говорить, сейчас всё проще.

– Да, дамочки слегка за тридцать сегодня самый ходовой товар на рынке. С детьми и без детей. – Тихая Зоя, которая до сих пор лишь присутствовала, вдруг оживилась и приподнялась на кровати. – В смысле, на рынке невест. Хотя одна моя подруга и в сорок нашла по Интернету себе приличного канадского мужика и укатила туда с семнадцатилетней дочерью.

– Вот как-то же находят...

– О, там целая система. Как она говорила, это тот же сэконд-хенд: роешься и роешься, но не факт, что отыщешь. Во-первых, поиск надо вести всё время: методично, изо дня в день писать и отвечать на письма. Вот пришла ты с работы, поела – и вперед. Во-вторых, прилично знать хотя бы английский. И главное – не иметь никаких связей здесь, это жутко мешает. Ну, словом, устройством личной жизни нельзя заниматься как попало. Это примерно как дом построить: сначала фундамент, который, кстати, целый год выдерживают, дальше стены, отделка, крыша – всё методично, не спеша.

– И как она, эта твоя... строила свой дом?

– Ну, они переписывались год-полтора и еще столько же встречались.

– А встречались-то где?

– Сначала вроде он в Москву приехал, потом она к нему в Канаду, потом отдыхали в каких-то экзотических странах. Мужчину не спешил, а ее это злило. В конце концов она предложила что-то решить. Со скрипом, но женились, а живут прекрасно. На всё про всё ушло лет пять.

– Немало.

– Вот именно. Непросто всё, небыстро. Но она не спешила, рожать больше не собиралась, поэтому могла себе позволить потянуть.

– А почему речь о «дамочках слегка за тридцать»?

– Ну, до тридцати там все учатся, делают карьеру и уже потом семью. Они понимают, что после тридцати всё более стабильно: сложнее переигрывать судьбу. А в двадцать что? Женились – разженились... Дочка моей соседки вон уехала по Интернету в Англию сразу после института, а через год вернулась: «Больше не хочу». Оказалось, что? Муж приходил с работы, нырял в компьютер – и до ночи. Ну не принято у них общаться с женой на интеллектуальные темы. А девочка – выпускница английской школы, прекрасно знает язык, у нее интересы. Просидела она год, как в клетке, – и домой, больше, говорит, никаких иностранных мужей. Недавно нашла русского оболтуса – и счастлива безмерно.

– Почему оболтуса?

– Музыкант какой-то, на голове бандана, сам лысый.

– Зато с ней разговаривает.

– Ну, наверное...

– Не хочу я английского мужа, – проговорила Вика. – Язык мне всё равно не выучить, да, если даже выучу, всё равно не хочу. Тут со своим-то, по-русски, договориться не можешь, а там совсем завал. Эх, были бы деньги, никакого мужика не надо, так ведь? Ну, иметь так парочку для развлечения: взял, попользовался и положил обратно. И чтобы не влюбляться... Девочки, поздно-то как, надо спать...

* * *

Так привыкла лежать на спине, что меня это совсем не утомляет. Правда, последнюю неделю встаю ночью, чтобы размяться. Просыпаюсь от того, что немеет поясница: нужно подняться и минут пятнадцать походить.

Иногда вместе со мной ночами выходит Оля. Решила, что у нее бессонница, но оказалось другое. Оля – боится. Ночь длинная, и, чтобы убедиться, что она жива и всё в порядке, Оля просыпается, ставит галочку «нормально», немного походит и засыпает опять. Ей кажется, днем она себя контролирует и, если что, может себе помочь, а ночью – нет, так как спит. На самом деле это бред и чушь: как ни прислушивайся, ни днем ни ночью мы контролировать себя не можем. Как будет, так и будет.

Обычно я выхожу в коридор, бреду до балкона, смотрю на небо и медленно ползу назад. Этого вполне хватает, чтобы дожить до утра.

Поразительно, но я так устаю за этот больничный день, что проваливаюсь в сон мгновенно. За ночь моя бедная голова отключается настолько, что утром требуется усилие для возвращения в реальность. Всё время снятся сны, в которых я легко передвигаюсь – танцую, плаваю, летаю. И всегда удивляюсь, как это легко.

Снится всё время какая-то ерунда, вот только сон с мамой меня поставил в тупик. Если все персонажи – это я, мое подсознательное «я», его отражения, значит, оставляю одну часть себя, а другая часть уезжает и просит остановить автобус. Бред какой-то. Ладно, попробуем озаглавить так: «Опоздание». Не лучше... Остается на всякий случай приделать счастливый финал – водитель тормозит, и мама успевает – прокрутить несколько раз и выбросить из головы.

Ночью больница мне нравится гораздо больше: она менее холодная, казенная и унылая. Иногда я представляю ее старинным замком с разными потайными дверями и комнатами. Выхожу из палаты и всегда боюсь увидеть что-нибудь неожиданное, какую-нибудь параллельную реальность. Ну, например, бал, толпа людей в старинных одеждах и масках. Я их вижу, они меня – нет. Дамы с высокими прическами, у мужчин шпаги... Они о чем-то переговариваются, но так тихо, что я не могу разобрать ни слова. Они спешат и скрываются за дверью под лестницей. Гулкий смех, где-то играет музыка и позвякивает посуда...

Но нет, всякий раз одна картина: сестринский пост, горящая лампа и поскрипывание сверчка. Правда, вчера на балконе действительно кто-то стоял. Когда я стала приближаться, оттуда вышли двое и быстро исчезли в конце коридора. Очень явственно проступил и растаял горьковатый запах свежих хризантем. Вокруг царил сумрак, но я узнала Реутову, которая вчера дежурила, а вот кто был второй? Мужчина, кажется. Худощавый такой и длинный.

Впрочем, Реутова вскоре вернулась:

– А! Мария Федоровна! Днем лежите, а по ночам гуляете?

– Спина устает, приходится вставать.

– Да-да, конечно, походите. Я тоже выходила подышать. И, представьте, летучая мышь...

Не простудитесь только на балконе.

«Не простудитесь...» – а в глазах вопрос: не увидела ли я чего лишнего? Из-за этого и вернулась и вроде бы вздохнула с облегчением: ведь мне ни до кого, кроме себя, нет дела.

Вика говорила про какого-то парня, который ждал ее у машины, – скорее всего, он. Худой, высокий. Как неудобно, что я помешала. Посмотрим, сколько на часах. Четыре... Пред-рассветный час. Хотя, наверное, нет, сейчас светает позже. Балкон выходит во внутренний дворик и сад. Должно быть, он пришел отсюда, этаж-то первый: раз – и перелез. Ну вот, спугнула чужое свидание, а людям, может, нужно было поговорить. Ужасно неудобно.

Постою минуты три и поползу обратно. Жаль, не могу сидеть – вон кресло есть. Экий чудный балкончик. Чей-то ведь был особняк – гуляли, пили кофий. Балкон длиннющий и широкий, уходящий за угол. А может, здесь сидели музыканты. Нет, лучше кофий, музыканты в зале.

Всё, поплелась назад... Ну вот, отлично: иду – и ни одного сокращения. Ночью всегда так. День – он и есть день: грохочет, трясется, пронизан сетью отношений и настроений. А ночью всё спадает, можно жить.

Не люблю ходить мимо приемного покоя. Кого-то привезли, переложили на каталку. Да, что-то срочное – и Реутова уже тут. Опять какая-то бедняга... «Срочно кровь... Анестезиолог... Вызывайте Толстоброва...» Мимо, мимо, не вижу, не слышу, не хочу, хочу спать. И зачем я это увидела? Всё, в постель. Гуляла пятнадцать минут, это много.

Утром тетя Лида (мы почти все новости узнаем от нее) рассказала, что женщина, которую под утро привезли с кровотечением, оказывается, из соседней палаты. Убежала домой на ночь, чтобы вернуться к обходу. Реутова не отпускала, но она упростила, а дома началось кровотечение, еле довезли... Срок двадцать четыре недели.

– Всё вам домой, домой! Главный уже два раза Маргариту Вениаминовну вызывал, вцепил выговор и так кричал, что даже в хирургии слышно было.

– И где она теперь?

– Кто?

– Женщина. Такая светленькая, маленькая, да?

– Не знаю я, какая. Известно где – в реанимации. Выскребли, вливали кровь. Ой, горюшко... Почти шесть месяцев. Вам говоришь: лежи, лежи – нет, всё бежать, скакать.

– Так, может, у нее и здесь бы началось кровотечение.

– Если бы здесь, то Маргариту Вениаминовну бы никто не упрекал, угрозы жизни не было бы. А так скандал на весь горздрав. А если б не спасли? Не довезли? Вам что, а нас теперь проверками замучают. Да ладно, пусть проверками... Маргарита Вениаминовна каждый выкидыш так переживает – к ней подойти-то страшно. Вам всё скакать!

* * *

Маргарита Вениаминовна Реутова уважала себя за три вещи – профессионализм, работоспособность и умение затыкать черную дыру под названием «смысл жизни» подручными средствами. Особенно за последнее. Все-таки не без ее помощи часть людей явилась в мир, и это держало, укореняло, придавало устойчивость. Она никогда не смогла бы работать, ну, скажем, в сфере обслуживания или в торговле. Или в рекламе. А вот дворником – пожалуйста. Но, даже если бы вдруг ей пришлось стать домохозяйкой, она и тут бы отыскала смысл, в крайнем случае, изобрела. Смысл жизни, пусть даже придуманный, привносит в ее жизнь кураж. И вот этот самый кураж взял и враз куда-то подевался. Без всяких видимых причин. А тут еще ЧП в отделении. Из-за ее жалости больная потеряла ребенка и сама чуть не умерла на пороге приемного покоя. За восемнадцать лет работы первый случай. Главный, который всегда относился к ней с уважением, вышел из берегов и устроил публичную казнь... Нет, это не главный вышел из берегов – это жизнь предупреждает ее: пора возвращать себе смысл жизни, не то последуют серьезные меры.

Рабочий день давно закончился, но Маргарита Вениаминовна сидела в ординаторской, пытаясь заполнять истории болезни. Она твердо решила ликвидировать все хвосты сегодня, а вместо этого прокручивала в голове последнюю встречу с Кирилловым, который не нашел ничего лучшего, как заявиться к ней прямо на дежурство, да еще посреди ночи. Он намеренно застаёт ее врасплох, и ему это отлично удается. Она чуть не вскрикнула, когда он возник на больничном балконе из влажной темноты.

– Как черт из табакерки. Я вас напугал?

Он легко перекинул себя через широкие перила и встал прямо перед ней, мгновенно восстановив равновесие. Встал и несколько длинных секунд молча и пристально смотрел на нее так, что ей пришлось отвести взгляд:

– Немного.

– Простите, не нарочно. Ей-богу, не нарочно. Шел мимо с работы – через больничный двор короче. И вижу: вы. У вас что-то случилось. Что?

– Так поздно? Или рано... А почему пешком?

– Хотел пройтись. Весь день без воздуха, без света.

– Ужасно.

– Поверили? А я соврал. Почти соврал.

– Соврали, что без света?

– Соврал, что шел случайно. Я нарочно. А что с работы, правда. Я знал, что вы дежурите. – Интерн вспрыгнул на перила и уселся, болтая одной ногой. Реутова осталась стоять, как стояла, и у нее сразу возникло чувство, что вот она, как школьница, растерянно отвечает на его вопросы, и ей это скорее нравится, чем нет.

Она одернула себя и, не улыбаясь, повторила как можно равнодушнее:

– Ужасно.

– Нет, вы рады. Ну, признайтесь, рады?

– Не знаю. Да! Спасибо за машину, я у вас в долгу. Мне, право, неудобно.

– Ага, в долгу, конечно. Но об этом после. Я повторяю свое приглашение на день рождения и уточняю время: в субботу, в три часа.

– Хорошо.

– Так, значит, вы придете?

– Ну, если не случится ничего страшного вроде землетрясения или наводнения, приду. – Реутова сказала это весело и с выражением, внимательно наблюдая за реакцией, но никакой внятной реакции не последовало, и после еле уловимой паузы Кириллов быстро проговорил:

– Прекрасно, я заеду, скажите адрес.

Немного подумав, она предложила:

– Встретимся у метро «Парк Победы».

– Отлично.

– Только, Сергей Леонидович, давайте договоримся сразу: я пробуду столько, сколько сочту нужным, и вы не станете меня удерживать, идет? Ни вы, ни ваши гости.

Кириллов рассмеялся:

– Вы сказали это как учительница.

– Я и гоюсь вам в учительницы. Были же вы моим интерном.

Он рассмеялся снова.

– Еще неизвестно, кто кому во что годится... Ну, что касается гостей, то их не будет. И, разумеется, вы вольны встать и уйти в любое время.

– А почему гостей не будет?

– Да ну их, не хочу. Совсем забыл, – Кириллов легко спрыгнул в сад, вытащил спрятанный в кустах букет хризантем, перемахнул обратно и протянул его Маргарите Вениаминовне, – это вам.

– Где вы их взяли ночью?

– Купил, стащил... Неважно. Вам нравится?

– Какой тревожащий аромат. Всегда это подозревала, а поняла сейчас. Как странно.

– Я не разбираюсь. Так нравится?

– Конечно.

Немного помолчали. Цветы в руках словно обязывали к чему-то, и Реутова заговорила первой:

– В мае здесь так поют соловьи, что я нарочно беру дежурства, чтобы послушать. Они поют на заре, вечерней и утренней. Всегда немного – от силы час. В одиннадцать вечера и в половине пятого утра. И тогда все остальные птицы молчат. Сначала наступает тишина, как перед концертом, и они начинают. Потом снова пауза, соловьи замолкают, и тогда вступают все остальные. Май – начало июня – и всё, опять до следующего мая. Впечатление потрясающее, если слушать внимательно. После этого долго приходишь в себя. Идите, вы устали. Поздно...

– Рано. Дайте номер вашего мобильного.

– Не дам.

– Хорошо, не давайте. Завтра, то есть уже сегодня, четверг. В пятницу я позвоню в ординаторскую. Не скучайте. Ой, смотрите, смотрите – летучая мышь.

Реутова вгляделась и увидела на его левом плече довольно большую летучую мышь, которая замерла, как изваяние, вцепившись в рукав рубашки всеми лапками.

– Здесь пропасть летучих мышей. Однако как ухватилась...

Кириллов быстро снял рубашку, чтобы стряхнуть мышь, и Реутова, смутившись, отвернулась. Он заметил. Вот тут-то их Гончарова и застучала. Пришлось срочно выпроваживать его через черный ход. Интересно: поняла она или нет? Да если и поняла... в конце концов, он же врач, вот, зашел по делам. В четыре часа ночи? Кошмар – так влипнуть. И хризантемы...

Зазвонил телефон. Валера. Сейчас заедет, чтобы ее забрать, – сегодня пятница, пробки, и она без машины. Пусть заезжает: она всё закончила.

Ей нравилось, когда муж забирал ее с работы. Выходил из машины, шел через больничный сад, ждал у дверей, и потом они медленно брели назад. Они так ладно смотрелись вместе, что это всегда вызывало и зависть, и радостное любование. Рядом с Валерой она не чувствовала возраста и знала, что он ее видит не такой, какая она сейчас, а такой, какой увидел впервые. Увидел, создал в голове файл «Рита» и отныне воспринимал только так. Он ей об этом как-то говорил, да она и сама это чувствовала. Несмотря на то что они были ровесниками, Валера выглядел старше, как все поджарые мужчины, и смотрелись они всегда гармонично, будто пригнанные друг к другу. Не то что с Кирилловым: племянник и тетка.

В вазе стояли вчерашние хризантемы. Хотела забрать их с собой – она всегда забирала цветы, – но потом передумала: не надо нести отношения с Кирилловым в дом. Отношения... Значит, они уже существуют и заставляют с ними считаться.

Муж собрался в Москву – дня на два, как раз на выходные, что-то там нужно для выставки, предлагал ехать вместе, но она отказалась, сославшись на усталость. Так на усталость или на Кириллова?

На усталость, разумеется, на усталость – при чем здесь Кириллов? Ну сходит она, раз обещала, часок посидит и уйдет. Не ухаживает же он в самом деле? Так, озорство.

Она быстро спустилась по центральной лестнице и почти у самых дверей столкнулась с мужем.

– Привет. – Он бегло поцеловал, еле заметно улыбнувшись и скользнув по ней одобрителем взглядом: – Чего-то я не помню это платье...

– Прошлым летом покупала. Всё, надо отдыхать. Так невозможно.

– Ну, выставлюсь, тогда.

– А куда поедем?

– Не знаю, надо думать. Как дела?

Она помолчала, раздумывая, рассказать ли о том, что случилось. Прежде она такие вещи рассказывала с порога, но вот уже лет пять, как перестала: не стоит близких нагружать.

Раньше она и подругам о чем-то всё время рассказывала, теперь же – почти ничего. Жаловаться не хочется и неудобно, хвастаться – неприлично. Да дело даже не в этом. Раньше всё

время хотелось делиться, вместе переживать свое и чужое. Сейчас – расхотелось, жалко сил и – бесполезно.

– Ты меня чем-то накормишь? Голодный как собака.

– Спрашиваешь так, будто я тебя кормлю раз в неделю. Заедем только зелени купить и фруктов. Как выставка?

– Ничего не готово. Сегодня весь день носился с каталогом – представь, они не успевают. Идиоты... Приедут из Голландии, из Швеции, приедет Генрих – каталога нет. На кой тогда и выставка.

– Отдай в другое издательство – сейчас их тьма.

– Тьма мелких типографий. А тех, кто соблюдает все ступени технологического процесса, единицы. Напечатают – свои работы не узнаешь.

– Пора заводить пресс-секретаря – не всё же самому-то бегать.

– Тогда я еще буду бегать и за пресс-секретарем. Уж лучше сам. Слушай, а может, ты пойдешь ко мне секретарем?

– По совместительству?

– Нет уж, голубушка, на ставку.

– И сколько ты положишь?

– Вот так всегда. До чего все бабы меркантильны!

– Это ты меня бабой назвал?

– Ну, извини...

– Я задала вопрос по существу: какой оклад? А ты грубишь.

– Да не грублю. На какой бы ты пошла?

– Надо подумать.

– Давай-давай, подумай. Да я серьезно, Рита. Сколько можно? Одни твои дежурства уносят полжизни.

Когда садились в машину, ей показалось, что возле ворот в больничный сад стоит Кириллов, она даже оглянулась еще раз, но там уже никого не было. Наверное, все-таки показалось.

Она порадовалась, что муж рядом, и оценила привычный душевный комфорт: не надо думать, что сказать и как сказать, что делать и чего не делать. Она не хочет ребусов, загадок, не хочет бродить в лабиринте отношений, предпочитая знакомый маршрут, где всё известно наизусть. А Кириллову подавай американские горки: ну что ты хочешь – возраст.

– А может, мы в ресторанчик сходим? Давно не ходили.

– Сходим, сходим... Только не сейчас. И не завтра. Я завтра уезжаю.

Муж ресторанов терпеть не мог, для таких походов нужна была причина. Иногда, после продолжительных уговоров, соглашался, они шли куда-нибудь посидеть, и он всегда удивлялся:

– А знаешь, здесь ничего, ничего... Ты довольна?

И потом опять долго-долго его невозможно было куда-то вытащить.

– Выставка через два месяца. Значит, я уже могу искать путевки, да?

– Можешь, можешь.

– Будет холодно, а мы поедем в теплые края. Поедем?

– Поедем. Вот спихну всё это.

Маргарита Вениаминовна внимательно посмотрела на мужа и только сейчас заметила еле уловимую изможденность в его лице. Не усталость, а именно изможденность – бледность и сухость кожи, вдруг проступивший пигмент, набрякшие веки.

На отдых, на отдых, на отдых. Спать, дышать сосновым воздухом. А главное, переключиться.

Выставляться и продаваться муж начал относительно недавно. Долго работал театральным художником, но потом что-то щелкнуло, и он ушел на вольные хлеба.

– Сейчас или никогда, – сказал он жене, и та согласилась. – Надоело рисовать декорации.

Это были времена, когда они жили на одну ее зарплату и никуда, кроме старой дачи близ Комарово, не выезжали. Валера сутками не выходил из мастерской.

Никто не знал тогда, во что это выльется. Но после какой-то незначительной и сотой по счету коллективной выставки его заметил немецкий коллекционер Генрих Рубер и купил две работы по баснословной цене. Будь на его месте она, она бы купила совершенно другие – «Трех девушек в красном» или «Автопортрет после пожара». Но он купил то, что, на ее взгляд, относилось к побочной ветви Валериного творчества и что про себя она называла «интерьерной живописью». Купил и заказал другие. Валеру тоже мало интересовали купленные «интерьеры», но на эту сумму они свободно съездили в Европу, и еще осталось на кухонный гарнитур. Господин Рубер делал заказы регулярно, тактично намекая, что именно он хотел бы видеть в следующий раз.

Они тогда ощутили резко наступившее благополучие, и всё бы чудесно, окажись ее муж ремесленником с некоторыми способностями. Но он был настоящим художником, которому, чтобы докопаться до собственной сути, нужно было переплавить тонны руды. А он вместо того, чтобы «плавить», зарабатывал вместе с Рубером деньги. Рубер был коллекционером и одновременно посредником между художником и заказчиком. Валерины картины он поставлял в Европу, висели они обычно в холлах, столовых или хозяйственных помещениях роскошных домов. В собственную коллекцию он брал совсем другие – не Валерины. И Маргарита Вениаминовна чувствовала: вот-вот наступит время, когда муж скажет очередное «сейчас или никогда», порвет контракты с Генрихом и опять надолго запрется в мастерской. Что делать? Ничего. Это его жизнь, имеет полное право. На эту, грядущую выставку он очень рассчитывал, намереваясь показать Руберу десять новых работ, сделанных совершенно в ином направлении.

– Погляди... Набросал вчера, – сказал он неожиданно, когда они поднялись в квартиру. И пристроил на столе ее графический портрет.

Она немного отошла и вздрогнула. Лицо вполоборота, прижатые к вискам пальцы – всё это точно передавало ее настроение последних недель. Растерянность, вопрос, почти испуг, зрачки, «обращенные внутрь». И ожидание чего-то. Причем она была много моложе, чем в жизни. Моложе, красивее, интереснее.

– Спасибо, что ты меня так видишь.

– Как?

Чуткий художник, он давно уловил это ее состояние, но уловил интуитивно, без расшифровки и облечения в слова. Такое с ним случалось – реагировать на происходящее неожиданными работами, и эти работы оказывались лучше многого продуманного и выношенного. Тот «Автопортрет после пожара» он написал после реального пожара в Доме художника в Москве, когда у него, как и многих других, сгорела сразу серия лучших работ.

Давно он не писал ее портретов, и вот... У Маргариты Вениаминовны блеснули слезы, ей стало неудобно. Никто никогда к ней не будет относиться лучше, чем он. И видеть ее так, как видит он, тоже никто не будет.

– Ты знаешь, – сказала она неожиданно, – давай поедим завтра вместе.

– Куда?

– В Москву.

– Мммм... Лучше я один, наверное. Зайду к Евграфу – ты его не любишь.

– К Евграфу?

– Да, к Евграфу. Посидим немного.

– Понятно...

– Что понятно?

Значит, так и есть: разорвет контракты с Генрихом. С Евграфом – Мишей Евграфовым – они вместе учились в «Мухе»¹. И были невероятно похожи. Одно время тот очень активно делал вещи на заказ, а потом как отрезало: сказал, что такая работа убивает в нем всё, нет уже сил думать, мучает что-то внутри и так далее. Закрылся в мастерской, два года не выходит. Но Евграф – скульптор, а на скульптуру сейчас как раз большой спрос. «Зайду к Евграфу». Так и есть, едет советоваться, хотя и сам уже всё решил. Придется готовиться к скромности в запросах. Деньги почти все проехали. Ну и ладно, ну и ладно.

Лет десять назад она бы спросила:

– Но ведь можно одной рукой писать работы Генриху и жить нормально, а другой – пытаться что-то сделать «для вечности», нет?

Нет. Нельзя. Но, скажем, Булгаков, Олеша, Ильф с Петровым – кто еще? – служили в газетке под названием «Гудок», правили дурацкие заметки, а ночами творили. Вон сколько сотворили... Так только они были молоды, да и в «Гудке» строчили недолго, для разбега. Рано или поздно приходится выбирать.

Как говорит Светка, или в баню, или в турпоход. Как говорят чеховские герои, «мне сорок лет, а я ничтожество». А тут уже за сорок...

Но в то же время, как говорит он же, Евграф, ваяешь, ваяешь, мучаешься – на выходе опять баба с веслом! Тогда уж лучше продаваться. Но в том-то и дело: узнать, шедевр это или «баба с веслом», есть только один способ – сделать.

Реутова подошла к портрету, потрогала его руками и сказала:

– Если не хочешь работать на Генриха, не работай.

Он помолчал, скрипнул зубами:

– Я не знаю.

* * *

Подарок! Она чуть не забыла о подарке, раздумывая, что ей завтра надеть, как держаться, о чем говорить. Что, что? Что обычно. Держаться непринужденно, естественно, а говорит пусть он. Но подарок... Рубашки-шарфы-туалетную-воду нельзя – слишком интимно. Диски-книги – не пойдет, она не знает его вкусов. Бытовая техника? Например, электрический чайник... Она вдруг вспомнила, как Светке ее бойфренд сто лет назад подарил навороченный фен, и как та рыдала: «Он точно меня бросит!» И действительно, вскоре они расстались – правда, по ее инициативе. Так что техника – хорошо. Техника держит дистанцию. Только не чайник, не чайник... Надо что-нибудь смешное и ненужное. Что?

Можно пройтись по художественным салонам, они выручают.

...Реутова поймала себя на том, что вот уже два часа сидит в ординаторской перед телефоном, а он не звонит. В четыре она уходит, а там – как хотите. Как хочет. Свой мобильный она не дала, домашний ему неизвестен, так что... А может, он опять пошутил? Может быть. Так что, возможно, всё сорвется. Она уже настроилась на завтрашнее приключение и сердилась, что он не звонит, и, чтобы вытащить себя из этого состояния, резко встала и направилась в приемный покой. Не позвонит – и хорошо, даже лучше. Она займется уборкой, может быть, даже вымоет окна, устанет до последней степени и ляжет читать Москвину. Татьяна Москвина – самый талантливый и самый злобный театральный критик Санкт-Петербурга и всея Руси – состояла в отдаленном знакомстве с Валерой и как-то подарила ему свои книжки. Маргарита в них заглянула и влюбилась на всю жизнь: столько там было ума, тонкости, юмора и яда. На месте несчастных режиссеров и актеров, которых Москвина уничтожала одним словом, она бы

¹ Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная Академия имени А. Л. Штиглица, бывшее Художественное училище им. В. И. Мухиной.

ей приплачивала – за внимание к их персонам. Всякий раз после очередной статьи Маргарита Вениаминовна чувствовала острый вкус жизни, словно театральные рецензии придавали этой жизни смысл. Или его проявляли.

За это послекусие она Москвину и любила, нуждалась в ней. Она даже начала чаще бывать в театре и вскоре обнаружила, что у нее прорезался театральный слух – способность отличать искусство от культмассовой поделки. И выяснилось невообразимое: в Питере на театральных сценах в восьмидесяти случаях из ста идут именно что поделки. Ужас. А что тогда в провинции?

Не спеша сходил в приемный покой, не спеша вернулась. В дверях ординаторской столкнулась с Толстобровом:

- Ой, тебе кто-то звонил. Сказали, что перезвонят.
- Спасибо... Женщина?
- Да, женщина. Только что звонила.
- Спасибо, Коля.

Минут через пятнадцать раздался звонок, и она узнала Светку. Светка была явно не в себе, потому что говорила рублеными фразами:

- Завтра. В любое время.
- Привет! Что завтра?
- Ты должна ко мне приехать. Егора весь день не будет – вот всё и обсудим.
- Что?
- Не по телефону. Эльза... Я случайно узнала, она молчит, не говорит, думает, что делать.
- Да что случилось-то?
- Ну не по телефону. Так приедешь?
- Не знаю, может быть, не завтра.
- Ну послезавтра.
- Созвонимся.

Судя по Светкиному тону, Эльза, их общая подруга, либо выиграла, либо проиграла миллион – в эквиваленте. Светка такие истории обожала, в особенности обсуждать их с Маргаритой, а лучше втроем – с Эльзой и Маргаритой, что всегда либо скрашивало проигрыш, либо придавало вес выигрышу. Так что, если бы не сомнительный день рождения с Интернетом, Маргарита не раздумывая поехала бы к подруге. Условия идеальные: Валеры нет, можно у Светки спокойно заночевать, а утром погулять на свежем воздухе в коттеджном поселке для богатых. Светка с Егором особенно богатыми не были, но Егор когда-то начал строить эти коттеджи вместе с приятелем и под шумок построил себе. Теперь они оттуда не вылезали. Вернее, не вылезала Светлана, на работу ездила три раза в неделю и мечтала не ездить совсем.

Как только отвязалась от назойливой мысли о звонке Кириллова и начала настраиваться на подругу, он тут же и позвонил: завтра в два часа у метро.

Она проехала по нескольким салонам и в отделе декоративно-прикладного искусства выбрала чудную штучку: сломанные настенные часы из металла и керамики – парафраз на стекающие со стены часы Сальвадора Дали. Цитируя одно произведение искусства, они и сами были произведением искусства, что усиливало эффект и немного царапало душу. Вот зря она не ходит по салонам – могла бы что-то такое приобрести.

От удачной покупки настроение сразу повысилось, она прилетела домой, чтобы приступить к другому творческому акту – выбирать наряд на завтра. Перебрала кучу тряпок, остановилась на «снах о Японии» – так она называла полувосточный наряд, недавно привезенный из Германии: длинная черно-белая струящаяся юбка с отзвуками то ли орнамента, то ли иероглифов и черный жакетик с какими-то наворотами вместо пуговиц. Несмотря на то что костюм стоил бешеных денег, Маргариту он радовал ужасно. С прической, решила, ничего делать не будет: поднимет волосы, закрепит – и привет. Или распустит. Интересно, куда он ее поведет?

Ну не домой, конечно. Должно быть, в ресторан. Есть очень уютные ресторанчики – те, что в глубине дворов...

Она грустно посмотрела на окна, руки до которых в ближайшее время не дойдут точно, и, взяв с полки любимый томик Москвиной, легла на диван, забыв работу, Светку и Валеру с Кирилловым. И, конечно, зачиталась.

Встать надо было хотя бы в десять, а она проснулась почти в половине двенадцатого. Быстро в душ! После душа мир имел обыкновение меняться в лучшую сторону, и она этим пользовалась. Что-то случилось – в душ. Ничего не происходит и грустно – в душ. Постояла под струей, чего-то склевала, выпила крепкий чай, немного уложила волосы, стала медленно одеваться.

Зазвонил телефон – Валера:

- Я ввалился. Ты как?
- Ничего. Только встала.
- Что будешь делать?
- Посмотрю.
- Ну, всё, пока, целую.
- Пока-пока, не пей там много.
- Обязательно напьюсь.

Странно: ей совсем не было неловко перед ним за этот день рождения. Ну какая разница, как каждый из них заполняет жизнь в отсутствие другого? Муж выпивает с Евграфом, она встречается со знакомым. Бегло оглядев квартиру, Маргарита проговорила вслух, как учила бабушка:

– Газ выключила, утюг выключила, воду закрыла?

Закрыла, закрыла.

Кириллова она увидела издали: он с кем-то говорил по телефону и одновременно искал ее глазами, наконец, увидел, улыбнулся, пошел навстречу, не прерывая разговор:

– Да-да, прямо к метро. Ну, встаньте у киоска, что ли. Да, вижу, мы идем. – И, повернувшись к Маргарите, не здороваясь, проговорил: – Видите такси? Нам туда, идемте.

Взял ее за руку и быстро повел через пешеходный переход, усадил в машину, сел рядом.

- Я рад вас видеть. Думал, не придете.
- Но я пообещала.
- Ну, замечательно.
- Куда мы едем?
- В центр. Там есть один милый ресторанчик на воде, вам понравится.

«Ресторанчик» оказался двухпалубным теплоходом без всяких признаков общепита, но, когда их провели в зал с несколькими отдельными кабинками, стало ясно: заведение дорогое, явно рассчитанное на иностранцев – с вызывающим шиком, непомерными ценами и услужливо-наглыми официантами. Зато почти нет шансов встретить знакомых.

Как странно, не далее как вчера она уговаривала Валеру пойти в ресторан. Пожалуйста, получите, распишитесь. Нет, здорово, конечно: сидеть у окна, смотреть отсюда на воду и Петропавловку...

Маргарите показалось, что они движутся. И точно, Петропавловка исчезла, мимо поплыли берега. Она посмотрела на Кириллова, который спрятался за меню.

- Сергей Леонидович, мы едем?
- Ну да, идем. Обычно корабли куда-то ходят.
- Куда?
- Всё по-разному. Этот – в Кронштадт.
- Вы сошли с ума. И когда мы вернемся?
- Ну, вернемся когда-то.

– Когда?!

– Не пугайтесь, не пугайтесь... К вечеру – обязательно.

– Но о таких вещах предупреждают.

– Напротив. Если бы я предупредил, вы бы точно не поехали, а потом пожалели, потому что вы не каждый день катаетесь в Кронштадт. Ну, словом, ничего хорошего бы не вышло. Если нужно звонить, то звоните – я пойду покурую.

– Вы же не курите.

– Ну, попытаюсь.

Кириллов встал и вышел, и по тому, как он вставал и двигался, было видно, что чувствует он здесь себя так органично, будто каждый день ездит (ходит, ходит!) в ресторанах в этот Кронштадт.

Принесли шампанское. Она отпила несколько глотков, потрогала гофрированные салфетки, полюбовалась вычурными шторами, светильниками и пепельницами (хотя зал был для некурящих) и совершенно развеселилась.

Подошел какой-то тучный иностранец:

– Would you mind talking with me?

– I am not mind...

– Are you alone here?

– Sorry... I am waiting for my friend. Can I help you?

– Thank you. I am from Germany and I haven't seen for ages so pretty woman.

– Thank you very much... You are very lovely.

– Bye-bye...

Подошел Кириллов со смеющимися глазами:

– Вы знаете английский?

– На таком уровне – да.

– И чего ему надо?

– Познакомиться хотел. Сказал, что в своей Германии... Ну, в общем, неважно.

– Не видел таких красивых женщин?

– Да, сказал.

– Ну, в Германии-то да... Я когда первый раз был, обалдел. А в Испании всё по-другому.

– Женщины красивые?

– Ну, не то чтобы очень красивые, а выразительные, особенные, хотя часто с неправильными чертами лица. Они все смотрят на тебя с подтекстом. А наши – спешат в магазин, в детский сад...

– Да, похоже. Так, у вас день рождения. Ничего не знаю о вашей жизни, но, возможно, мой подарок будет кстати. Держите.

Кириллов развернул сувенирные часы, долго вертел их в руках, как ребенок.

– Здорово. Повешу над кроватью и буду сверять по ним жизнь.

Вскочил и начал приспособливать на стену:

– Пусть повисят пока здесь, вы не против?

Она пожала плечами и начала раскапывать вилкой фруктовый салат. На стол принесли всякой всячины, они оба задумались, в какой последовательности всё это едят, но Кириллов тут же предложил есть всё и разом.

Ей стало смешно и легко, но легко по-другому, иначе, чем с Валерой. Она расслабилась и долго смотрела на проплывающие берега и на скользящих официантов. Воображение вдруг переместило ее в прежнюю Россию, которая осталась разве что где-то в рассказах Бунина.

– О чем вы думаете? – спросил Кириллов.

– Вы не поверите – почему-то о Буине. Что-то здесь есть от России времен ее расцвета и крушения.

– А, гимназистки, уха из семги, «В Стрельну!», «К „Яру“!», Митины любви и церковный звон...

– Это декорации. Как вокруг нас сейчас.

– Да Митя просто счастливец, что застрелился от любви. Так бы убили большевики – без вопросов. Лучше скажите: кто вас назвал Маргаритой?

– Папа. Но не Маргаритой – Ритой. Без всякой связи с Булгаковым.

– Сейчас так девочек не называют.

– Ну, после Булгакова как же можно? Между прочим, мне всегда казалось, что слава романа не соответствует его реальной ценности.

– Возможно. А вот оделись вы неправильно.

– Почему?

– На палубе вам будет холодно, а так бы поднялись. Я тут захватил кое-что, примерьте.

– Давайте-давайте, поднимемся.

Она легко набросила на свой «японский» наряд спортивную куртку Кириллова, и они вышли наверх. Говорить сразу расхотелось, хотелось искать глазами линию горизонта, подставлять лицо ветру и ждать появления Кронштадта.

– Мне бы в голову не пришло ехать туда в ресторане, – рассмеялась она и направилась к носу корабля. – Как Емеля на печи.

– А мне – пришло. Время от времени я на редкость точно соображаю. Главное, нестандартно.

– А вы всегда так празднуете день рождения?

– Нет, не всегда. Я их не праздную. Не праздновал давненько. Пару раз как-то собирались с друзьями на даче, но там сейчас живет мама – не хочется ее беспокоить. А вы?

– А у меня традиционно: табун гостей, гора посуды.

В Кронштадте начал накрапывать дождь, но они всё же прогулялись по набережной, Кириллов всё время рассказывал милые и забавные пустяки. И она что-то рассказывала. Он перебивал, они смеялись. А назад теплоход вернулся так быстро, что они едва успели покончить с десертом и даже не выпили кофе.

– Зайдем куда-нибудь еще? – спросил Кириллов.

– Конечно, нет. Домой, и срочно.

В такси они молчали, а когда прощались у подъезда, Реутова тихо проговорила:

– Не знаю, зачем вам это было нужно. Но мне понравилось, спасибо.

Кажется, он ничего не сказал – только очень внимательно и долго посмотрел, кивнул два раза, и она взялась за ручку двери.

Квартира без Валеры показалась неудобной и хмурой, прожитый день из нее виделся длинющим и одновременно мгновенным, а настроение после него – непонятным.

* * *

...Проснулась среди ночи, поняла, что вряд ли уже уснет, и отправилась на кухню выпить чаю. На кухне сто лет стояло кресло, которое они с Валерой никак не могли выбросить. Глубокое, на низких ножках, потертое во всех местах, оно было чем-то вроде старого друга. Пару раз обивку его перетягивали, а однажды Маргарита купила в дополнение к нему абажур, и теперь это кресло под абажуром было самым удобным для размышлений местом.

Она угнездилась в нем, положив ноги на стул, и принялась переваривать минувшую поездку. Во-первых, она молодец, что сразу выбрала нужный тон – дружеский. Не играла, не кокетничала, не дулась, не пыталась быть любезной, а разговаривала так, как, скажем, стала бы разговаривать с Колей Толстобровом. Дружба – альтернатива любви и разным прочим глупостям. Хочешь пресечь ухаживания – начинай с человеком дружить. Во-вторых, ей понра-

вилось, как вел себя Кириллов, – главное, не был навязчив. И, в-третьих, сама поездка была интересной. Что он сейчас делает, этот Кириллов? Спит. Читает. Смотрит в телевизор. Она ведь ничего-ничего о нем не знает. Где и с кем он живет, с кем дружит и дружит ли вообще? Сказал про дачу и про маму – и как-то странно это прозвучало, будто у таких, как он, не может быть ни мам, ни дач.

Ей надоело думать про Кириллова, чай был выпит, но из кресла встать не хотелось, хотелось не двигаться и плыть среди ночи, которая всегда что-то обещала, но обещаний никогда не выполняла. Подумав, она все-таки решила завтра ехать к Светке. Вдруг что-то случилось? Да если даже не случилось – когда еще выберется? Ладно, выспится и поедет.

Но спала плохо: странное возбуждение не давало расслабиться и отпустить этот день с его огнями, волнами, взглядами, разговорами. Пару раз она даже вставала, зачем-то шла на кухню, ложилась снова, а утром соседи справа начали колотить и сверлить во все стены, и ей ничего не оставалось, как собраться и ехать.

Заскочила на рыночек купить фруктов и рыбы и часа через три сигналила в Светкины ворота, любуясь ладным коттеджем из желтого кирпича, с синей крышей, утопавшим в роскошной зелени.

– Ну, слава богу. Где Валерка?

– В Москве. Слушай, мы сто лет не виделись.

– Ага. Сейчас прибудет Эльза.

Всякий раз, когда они встречались, Маргарита удивлялась, что школьная подруга совсем не меняется. Те же рыжие волосы, стремительная походка, тот же пронзительный взгляд и непереносимые цветастые балахоны. Светка была художником-модельером и шила чудные наряды, но Маргарите всегда казалось, что это не совсем ее, и она могла бы быть, ну, скажем, отличным администратором или хозяйкой гостиницы. Но Светлана была уверена, что со временем создаст собственный бренд и вполне сможет конкурировать со Зверевым и Юдашкиным.

Они прошли в ухоженную кухню, а через нее – на открытую веранду, выходящую в заросший сад.

– Чего-нибудь поешь?

– Поем.

– Есть овощи, грибы и есть оладьи. С твоей фигурой можно всё и сразу, так что лопай, а я стану рассказывать. Нет, ты подавишься, лучше поешь.

– Тогда не буду.

– Ладно, слушай. Пока нет Эльзы, расскажу. Была я в городе и случайно встретила Римму – ну, помнишь, наша педиатр, мы с ней на Васильевском жили?

– Римму не помню. И что?

– Встречаю, а она говорит: мол, видела вашу Эльзу Даниловну и так порадовалась за нее – родила третьего. Ох, ах, какая молодец, в таком-то возрасте.

– Кто-кто родил, Эльза? Когда?

– Да никогда! Ты слушай. Я спрашиваю: «Да? Не может быть!» А она: «Я думала, вы знаете, ведь мальчику почти три года, в садик оформляет».

– Кто, Эльза?

– Эльза, Эльза.

– Ты когда ее видела в последний раз?

– Три месяца назад, не помню точно. Я бегом звонить Эльзе, и она сказала, сказала... Такого даже в сериалах не бывает, Ритка. Нет, не бывает – всё перебрала.

– Ну, ты расскажешь наконец?

– Рассказываю. Помнишь, ее Вадим всё время ездил в командировки куда-то в область? Как ни придешь, мужика нет и нет, она одна с детьми плюхается.

– Так дети-то давно большие: Алене – двадцать два, Игорю – двадцать.

– Это они сейчас большие, а пять лет назад, когда Вадим начал ездить по командировкам, они были меньше. Ну вот. Возвращается он в очередной раз, да не один – с ребенком, этим самым мальчиком. И заявляет: это мой сын. Или ты принимаешь нас вместе, вдвоем, или мы вместе уходим.

– А мать?

– Что мать? Какая-то профурсетка. То ли пьет, то ли что, непутевая в общем. Жил там с ней, поживал, а когда увидел, что ребенок без присмотра, забрал и увез.

– Это тебе Эльза сказала?

– Да, прямо по телефону.

– Не ожидала от Вадима.

– Да уж, не каждый день мужик в подоле приносит!

– Вот именно, не каждый. Молодец Вадим, другой бы бросил: разбирайтесь сами.

– Да вроде там некому разбираться – родне не надо. Ну ладно, Вадим, по твоим словам, молодец, а жене-то его теперь что делать?

– Жить и радоваться.

– Ну так сама ей и скажи. Вон идет, приехала. Погулял твой муж, ребеночка прижил, а ты бери, расти и радуйся. Спасибо не забудь сказать. Да я три ночи от этой новости уснуть не могла, а она – «молодец». Я понимаю, такое в желтой прессе прочитать, но когда твоей родной подруге привозят ребенка от любовницы... Не знаю, я бы вцепилась в морду.

– Кому?

– Кому-кому... Ну, ясно, муженьку.

Маргарита встала и, улыбаясь, быстро пошла к Эльзе, которую еле узнала, настолько та похудела. Но, чем ближе она подходила, тем сложнее ей было удерживать улыбку. А когда подошла и Эльза припала к ней и заплакала всем своим существом, у Маргариты тоже навернулись слезы. Так они и стояли и плакали, пока Светка не обняла обеих и не усадила на диван.

– Рита, мне плохо... Плохо... Совсем потерялась, не знаю, как жить. Позор-то какой. Думала, как вам рассказать. Хорошо, Света сама позвонила. На работе все молчат и так смотрят – невозможно вынести.

– А с кем ребенок-то?

– С отцом. Взял отпуск – пусть сидит. С нашими так не возился, как с этим. Пять лет мне врать и жить с той девкой, всё разрушить, а потом еще выставить на посмешище! Ужасно. Ну ведь гуляют же люди – никто не догадывается, над женой не смеется. А тут... Не знаю, что делать, не знаю.

– Эльза, стоп. Стоп, я сказала. Сейчас ты выпьешь кофе и будешь слушать меня, потому что я сейчас – самый компетентный в нашей компании человек. Я каждый день с этим сталкиваюсь и говорю тебе как врач: ты просто слишком благополучна. Благополучна – слишком, и жизнь это поправила. Всё! У меня пол-отделения матерей-одиночек, треть – которые не могут выносить, почти все нездоровы, а мужья – без слез не взглянешь. Ну, посмотри на нас, своих подруг. Светку муж с грудным ребенком бросил, лет пятнадцать билась одна, пока Егор не появился, и тот не идеал. Я – без детей... Да если бы у меня был ребенок и Валерка еще привел одного, простила бы не глядя. Честное слово. Ну, неприятно, изменил. Конечно, больно... Но совершенно ясно, что на той женщине он жениться не собирался в любом случае. Ведь так? Иначе давно бы женился. И самое главное, не каждый мужчина решится привести домой такое свидетельство своей измены. Я хочу сказать, не всякой жене окажут такое доверие. Тебе – оказали.

– Да выхода у него не было, вот и всё. Мальчишка всё время один, соседи подкармливали. За две недели он у нас на три килограмма поправился.

– Вот видишь! У меня пол-отделения сорокалетних – кто со вторым, кто с третьим. А тебе и рожать не надо: готового принесли. Еще полюбишь больше, чем своих.

– Она полюбит – и заявится мамаша. – Светка, хранившая скептическое молчание, встала и пошла ставить чайник, громыхнула им о стол, с шумом залила воду.

– Нет, не заявится. Вадим с нее расписку взял.

– Подумаешь, бумажка! Протрезвеет – и явится.

– Света, перестань. Сейчас никто не знает, что будет, чего не будет. Ты готова с ним развестись, расстаться, разменять квартиру и жить одна?

– Ну почему одна? А дети?

– Это кто у нас дети? Алена? Алена не сегодня завтра выйдет замуж, Игорь приведет подругу, и ты всех их будешь обслуживать. Теперь рассказываю про Вадима. Вадим поплюхается с ребеночком так с полгодика, устанет – это ведь мы как машины, а они устают – и женится на какой-нибудь девахе. А так, если рассуждать цинично (а я именно так сейчас и рассуждаю), ты получаешь виноватого на всю жизнь мужа и ребенка, который будет тебя любить, как родную мать. А ты – его.

– Не знаю...

– Люди собак, кошек любят, вон змей даже держат, а тут двухлетний мальчик. Другая бы радовалась.

– Рит, ну тебя послушать – гуляй, мужик, направо и налево, неси детей, а мы будем растить. – Светка вдвинулась на террасу, поставила поднос с чашками.

– Да нет же, не так.

– А как?

– Ну я же сказала: больно. Конечно, больно. Но ведь это не конец. Женат человек, не женат – он имеет право на личную жизнь. Цепь всё равно не наденешь. Да и не нужно. Ну, всякое бывает. Увлекся, скажем, человек, а она родила – не спросила. Из-за одной измены глупо расставаться.

– Да он пять лет там ошивался!

– Вот именно, пять лет. И ни за что не хотел расставаться с семьей. И даже когда родился сын, он этого не сделал. Не захотел. Света, вот скажи честно, скажи: а ты в самой себе уверена?

– Уверена в чем?

– В том, что завтра ты не встретишь человека, не влюбишься в него, несмотря на Егора, вашу семью и Сашку, которого того и гляди выгонят из института? Несмотря на ваши кредиты, планы, этот дом, родителей Егора, которых вы решили забирать?

– Конечно, нет. Конечно. Но раньше ты говорила по-другому.

– Глупая была, молодая. Не понимала, что каждый волен распорядиться своей жизнью по-своему. Волен, Света, понимаешь? Человек увлекся, но он берег жену пять лет, скрывая эту связь. А потом, между прочим, встал на сторону ребенка, рискуя потерять семью и старших, взрослых детей. Да, кстати, они-то как?

– Не знают, что и думать, как относиться. Мальчика жалеют. Если куда надо сходить, Вадим его с Аленкой оставляет.

– Вот. Дети, значит, приняли. Умнее потому что.

– Рит, ты правда так думаешь? – В исплаканных глазах Эльзы промелькнула слабая надежда, и она с вопросом продолжала смотреть на подругу, словно от этого ответа зависела вся ее дальнейшая жизнь.

– Думаю, у тебя просто нет других вариантов.

– Варианты всегда есть, – упрямо напомнила Светка.

– Есть, но этот – лучший. И с христианской, и с циничной точек зрения. Всё! Пошли коптить рыбу, я форель купила. Где коптильня? И надо было брать с собой ребенка, побегал бы здесь на воздухе. Как его, кстати, зовут?

– Андрюша.

– Ну вот, в следующий раз возьмешь с собой Андрюшу. А что касается общественного мнения... Ну, посудачат день, а максимум неделю, жизнь предъявит другое событие – про вас забудут. Тут ведь как преподнести... Пока ты себя считаешь жертвой – и все вокруг будут считать точно так же. А когда ты начнешь порхать от счастья, все примутся завидовать. Так и скажи: знаете, так мечтала родить третьего ребенка, но возраст, всё такое, а тут – пожалуйста, и рожать не надо, как повезло! Попробуй. Ты понимаешь, любая, самая мерзкая проблема всегда имеет две стороны, но ведь мы почему-то выберем ту, что похуже, и носимся с ней, как с писаной торбой. Бабушка моя говорила: как дурень со ступой.

– Почему со ступой?

– Не знаю почему, но смешно.

– Ритка, не там работаешь, не там... Иди в психологи – от клиентов отбою не будет. Но нас ты будешь принимать бесплатно.

– А я и так психологом работаю. Вот прихожу на работу и сразу становлюсь психологом. И как психолог повторяю: девяносто восемь процентов моих пациенток тебе бы искренне позавидовали. А может, и все сто. Гордись и радуйся.

Маргарита сама удивлялась той легкости, с какой приходили эти слова, точно кто-то подсказывал, но она знала, что сейчас самое главное – помочь подруге принять эту новость, а после Эльза разберется. Самое трудное – это сейчас. И Эльза словно поверила: встала, умылась, задвигалась. А когда они закоптили рыбу и водрузили ее на стол в окружении Светкиных яств, стало и вовсе легко, почти как сто лет назад, когда, слава богу, не было ни мужей, ни проблем, с ними связанных. Светлана достала две бутылки какого-то коллекционного вина, и было решено, что домой они вернутся на такси, а машина Маргариты пока поживет здесь, в гараже.

* * *

В отделении после того случая повисла какая-то предгрозовая тишина: все мрачно сидели по палатам и выходили лишь по вечерам, когда процедуры заканчивались. Дневной стационар фактически отменили. Наша Вика не бегала курить в окно, пытаясь бросить.

Вдруг резко похолодало и засквозило во все щели, и мы только и делали, что кутались в одеяла да пили чай.

Осень. Вот ее пережить – и всё. Потом декабрь – и мне рожать. Двадцать восьмое декабря тире четвертое января. Срок, который стоит в карте. Четыре с лишним месяца. Шестого ноября мне выходить в декрет. Там будет легче. Значит, два месяца с хвостиком. Их нужно как-то перележать. Всего-то два. Не пять, не год. Вот только по-прежнему никакой логики в моем состоянии не обнаруживается. Допустим, понервничала бы – получи сокращения. Так нет, если что-то возникает, то, как правило, на ровном месте. Полностью изолировать себя от эмоций, конечно, не удастся, но определенные успехи есть. Например, меня совершенно не взволновала Зоина история, то есть я хочу сказать, не вызвала острых чувств.

Да и беда женщины из соседней палаты, в общем-то, прошла мимо. Мне удалось не загружаться, не примерить ее случай на себя. Я действительно убеждена: у каждого свой путь, и вычислить его практически нельзя, так какой смысл в это погружаться?

Приходит Алеша, пытается мне что-то рассказывать, но, видимо, я плохо изображаю заинтересованность, и он стал ограничиваться пунктирными отчетами. Главное, как говорит одна моя подруга, в нужных местах говорить «Да ну?!» – и вовремя кивать. Вот и киваю.

– Тебе хорошо, – завидует Вика, – дочка большая, каждую минуту маму не зовет. Да она еще и рада, что ты не стоишь над душой: куда пошла, когда придешь? А что, у них с отчимом отношения нормальные?

– Ага, приятельские. Говорю: может, у папы поживешь, пока я здесь? А она – ни в какую.

– Ну конечно, папаша церемониться не будет, а тут она сама себе хозяйка. Не, пусть живут вдвоем, присмотрят друг за другом. А что, папа-то женат?

– Женат, женат.

– А дети?

– Только Аня.

– Вот и хорошо: пусть помогает Ане.

– Да что хорошего? Красивый здоровый мужик обязан размножаться. Как исчезающий вид.

– Да уж, исчезает...

– Причем по всем статьям. На рыбалках, охотах, в горах, во всяких экстремальных видах отдыха гибнет кто?

– Мужик.

– В разных катастрофах, драках, локальных войнах и просто в армии?

– Мужик.

– Плюс аварии на производстве, гибель военных самолетов, подводных лодок и прочей техники. Но главное, он, этот мужик, поляризуется.

– Это как?

– Ну, собирается на полюсах общества. Наркоманы, алкоголики, бомжи и преступники в основном кто?

– Они.

– Да, нижний полюс. Ну а верхний – сфера большой политики, большого бизнеса, высокого искусства. Этим интересуется только дело. А! Еще одну статью забыла – гомосексуалисты. Мало того что их и так не сыщешь днем с огнем, так они еще и спариваются. Что остается? Жалкая горстка особей, которую рвет на части женская половина человечества. Так что мужчина – нормальный, среднестатистический – обязан размножаться, а не вымирать. Но, как правило, чем он более развит, тем меньше ему хочется это делать: он живет другим.

– А мы выкручивайся как хочешь.

– Вика, ну ты же выкрутилась. Свой погиб – взяла чужого. Хотелось насовсем, но вышло на время. Так что всё логично.

– Не надо мне этой вашей логики, а нужно нормальной человеческой жизни.

– Ладно, я тебя успокою. И живут они на тринадцать лет меньше, чем мы. Так что в любом случае, хоть ты замужем-презамужем, доживать всё равно одной.

И никого это не успокоило. Все жалостно вздохнули.

Глава III

24–26 недель

Я лежу, смотрю в тусклый потолок и думаю о Жанне из нашей бухгалтерии. Примерно на этом сроке у нее начались преждевременные роды, и мальчиков – оказалась двойня – спасти не смогли. Казалось бы, какая разница, пять или шесть месяцев, но разница гигантская. На пяти еще возможен поздний аборт. Шесть – уже преждевременные роды...

Шесть – это ближе к семи. Шесть – это ужас как страшно. Месяц я здесь отлежала, начиная второй. Дня три как ничего не капают, и, по идее, Реутова вполне может отправить меня домой – до следующего острого состояния. Но перевозки, перевозки... Сказала, что никуда не поеду, готова платить за лечение. Она только рукой махнула и ушла в ординаторскую. Значит, пока не отправит.

Начались явные шевеления ребеночка, будто он крутится, как веретено: раз – и повернулся. А до этого были совсем слабые – движение волны, как будто рыбка проплыла и замерла. Совершенно новые для меня ощущения.

Страшно-то страшно, но есть и плюс: кончилось «межсезонье», то есть период от четырех до шести месяцев, когда беременность как будто бы совсем не проявляется. То ли есть она, то ли нет. Токсикоз давным-давно закончился, а шевелений еще нет, и как ты к себе ни прислушивайся, всё равно ничего не услышишь.

Тяжелее ходить, тяжелее лежать, невозможно сидеть. Сильно расширились вены и всё время болят. Надеваю супертугие чулки на резинке, что почти невозможно с моими способностями, и только тогда встаю. Вены мне еще пригодятся. Пока лежу, живота не видно: он расплзается к бокам, и малышка уютно (так я думаю) располагается на мне. Но все попытки устроиться на боку обречены: разросшаяся матка сильно напрягается и становится твердой, как камень, плоскостью. Никогда бы не поверила, если бы не увидела своими глазами. Каждая такая ее реакция приводит меня в ужас, но всякий раз мне кажется, что надо пробовать еще. Не надо, лишний риск – и только.

На той неделе выписали Вику. Перед тем как уйти, она вымыла мне голову – совсем как в парикмахерской. Нагрела чайник воды, велела запрокинуть голову и вымыла над тазом. И так быстро и ловко у нее это вышло, что я не успела устать. Вымытая голова – самое счастливое событие последнего месяца. О большем мечтать не приходится. Душ здесь какой-то есть, но я, скорее всего, не вынесу такую процедуру.

Выписали Громкую Зою. Не выписали – перевели в перинатальный центр, в палату интенсивной терапии, и у нас пока две свободные койки. Оксана, как и я, лежит, у Тихой Зои – плохие анализы, Олю Старцеву наблюдают. В четыре Оля обычно уходит домой, и мы остаемся втроем, уставшие от разговоров и неизвестности, каждая по-своему проживая еще один день.

Чтобы подвести ему черту, я начала петь детские песни. Глажу руками живот и пою, чтобы малышка меня слышала. Во время пения пытаюсь радоваться, чтобы ей доставались положительные эмоции. И так мы с ней всё время в страхе...

Алеша мне принес фонендоскоп, и я слушаю сердцебиение маленькой. Ее сердечко стучит часто-часто – где-то сто шестьдесят ударов в минуту, и мне приходится делать усилие, чтобы сосчитать и не сбиться. Сто шестьдесят! Никогда бы не подумала, что так много.

Буквально на днях мы с ней наладили связь. И стоит мне подумать о ней или ее позвать, как она делает движение. Когда я начинаю с ней разговаривать или напевать песню, она перестает шевелиться и слушает. Правда, сегодня она меня напугала. Проснувшись утром, я, как обычно, «вышла на связь», но никакого шевеления не последовало. Я позвала еще и еще – тишина. Дрожащими руками достала фонендоскоп, послушала стук сердечка, немного успоко-

илась, поговорила с ней, попросила подвигаться. Некоторое время она не шевелилась, а потом вдруг последовали три внятных толчка, как будто она со мной играла.

Иногда она не шевелится и час, и два подряд – я ужасно пугаюсь. А потом может долго «играть» и «кувыркаться», зная, что меня это радует.

Уверена, мы понимаем друг друга. И чтобы ее не пугать, я изо всех сил скрываю свои страхи. Страх у меня – некуда девать. Вот, например, бывает замирающая беременность, когда младенец в утробе матери вдруг перестает развиваться. Но я уговорила себя, что вероятность этого кошмара – один случай на миллион, и нечего заморачиваться. А сама всю дорогу тянусь к фонендоскопу.

– Маша, ты так сойдешь с ума, отдай фонендоскоп обратно, – просит Тихая Зоя.

– Не отдам. Пока я ее слышу и пою песни, с нами ничего не случится.

– Отвлекись, почитай, повяжи.

– Мне нельзя отвлекаться, пойми ты.

– Да кто тебе сказал?

– Никто. Не знаю... Но это точно. Отвлекаться нельзя. Я должна следить за маткой и время от времени слушать ребенка.

– Сойдешь с ума.

– От этого не сходят. Сидели же люди годами в тюрьмах, карцерах, одиночках – и ничего, переключались потом на обычный режим.

– И где они, те люди.

– Буковский, скажем, в Англии. Пятнадцать лет сидел за антисоветчину, если помнишь.

– Его на кого-то потом обменяли, да?

– На Луиса Корвалана.

– Подряд пятнадцать лет?

– Нет, с перерывами и сменой декораций: тюрьма, лагерь, лечебница для душевнобольных.

– А он что, душевнобольной?

– Ну, в какой-то степени да, если человек практически в одиночку пытался бороться с тоталитарным режимом и железным занавесом. В тюрьме он выучил английский, читая Диккенса в подлиннике.

– Обалдеть.

– Ага. И первую пресс-конференцию после депортации вел по-английски.

– И что же?

– Преподает там вроде в Оксфорде и пишет книги. А шел, между прочим, конец семидесятых – какая заграница?

– А он туда хотел?

– Не знаю. Скорей всего, не думал. Но они с ним замучились, не знали, что делать, вот и отправили куда подальше.

– А чего мы с тобой про Буковского заговорили? – Зоя уселась на кровать, положив под спину подушку и устроившись, будто в кресле.

– Да вспомнила его тюремные записки – что-то похожее я сейчас чувствую.

– Ну, Маш, ты и сравнила! Наша «тюрьма» хотя бы конечна по времени.

– Я не об этом. Буковский писал, что в тюрьме на тебя всей своей тяжестью наваливается чувство вины перед близкими. Сидишь в карцере, книг не дают, и память любезно подсовывает то, о чем ты очень хотел бы забыть. Что вот, скажем, когда-то, сто лет назад, твоя мама лежала в больнице, а ты, идиот, гонял в футбол и ходил к ней через раз, – ну и так далее. У каждого свое. Он, например, вспоминал про убитого зайца.

– Какого зайца?

– Обыкновенного, белого. Пишет, что возвращался как-то с друзьями с охоты, и вдруг на дорогу выскочил заяц. И они, те, кто были в машине, стали палить по нему изо всех сил. Заяц метался, но его, конечно, убили. Так вот, Буковский говорит, что и до этого, и после ему доводилось на охоте убивать зверей, в том числе зайцев, но такого чувства вины, как за этого, он не испытывал никогда. Пишет, мол, получилось, «за него я и сидел...». Пока живешь обычной жизнью, об этих «убитых зайцах» не помнишь. Но стоит выйти из ежедневной круговерти, как они прямо-таки воскресают из мертвых.

– Точно... – задумалась Зоя. – Но я думала, это только со мной. Слушай, а может, лучше, что эти «зайцы» иногда воскресают. Ведь в обычной жизни они всё равно сидят в подсознании. Как скелеты в шкафу.

– Сидят, конечно.

– А у тебя какие «зайцы»?

– У меня, Зоя, долги.

– Большие?

– Неоплатные.

– Понятно.

– Вот сейчас умирает моя бабушка.

– У тебя что, бабушка жива?

– Обе.

– Как здорово.

– Так вот, бабушка Нюра, Анна Павловна Голубева, со мной сидела до пяти лет. Когда мне было восемь месяцев, мама вышла на работу, а я оказалась несадовская. Бабушке было всего сорок пять. Почти как мне сейчас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.